ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГЖС541
П162

Морис Палеолог

Царская Россия

во время мировой войны

Государственное Издательство
Москва-Петроград.
1923

Г Ж5411
П164

МОРИС ПАЛЕОЛОГ.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ

ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ М. ПАВЛОВИЧА.

Р.С.Ф.С.Р.
ИНСТИТУТ
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА
В. Ц. И. К.

2-й экз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1923 г. — ПЕТРОГРАД

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008
1984
ГЖ541 Р
П164
ИЛ
БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
при Ц.К.В.К.П.(б)
297870 У
292
35

Главлит № 5560. Тираж.—15 000.

Военная типография Шт. Р.-К. К. А. (Площ. Урицкого, 10).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Вышедшая в Париже на французском языке и выпускаемая сейчас нами в переводе книга Мориса Палеолога, французского посла в Петрограде, посвящена первому периоду войны и охватывает события, начиная от 20 июля 1914 г., дня прибытия в Петроград президента Французской республики, до 31 декабря 1915 г.

В мировой войне русская армия сыграла роль оттяжного пластыря. Она приняла на себя главные удары австро-венгерской и германской армий, обескровила последние в ряде упорных маневренных боев и этим спасла и Францию, и Англию, и Италию, и Сербию от окончательного разгрома. Наступлением на Восточную Пруссию, стоившим России потери целой армии, Россия спасла Париж в августовские дни 1914 г., мартовским наступлением 1916 г. Россия спасла Верден. Упорными битвами на лодзинском фронте, грозившими прорывом немецкого фронта и полным разгромом Австрии, русская армия заставила Германию прервать битву на Изере, отказаться на полтора года от наступательных действий во Франции и повернуться против нас главными силами. В мировой войне царская Россия явилась для Франции поставщиком пушечного мяса, чем-то в роде гигантского Сенегала, который должен был доставлять Франции уже не

десятки тысяч, а многие миллионы не черных, а белых рабов.

Может ли французский посол, по мере своих сил, содействовавший закабалению царской России, признать открыто правильность такой точки зрения, может ли он согласиться с тем, что в награду за свои жертвы русская армия за весь период войны ни разу не получила серьезной помощи от союзников, — помощи, которая заставила бы немцев и австрийцев в какой-либо критический для русской армии момент перебросить свои силы с восточного фронта на западный?

Морис Палеолог не был бы „дипломатом", т.-е. представителем той породы людей, которым язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, если бы он в своей книге, которую так расхваливает французская пресса, не дал нам совершенно фальсифицированной истории мировой войны. Прежде всего, оказывается, что Франция Пуанкаре совершенно не была заинтересована в провокации мировой войны, не желала последней. Франция приняла участие в войне только по своему благородству, из дружбы к России и из желания соблюсти условия союзного договора.

В самом деле, вот как Палеолог рассказывает о причинах вмешательства Франции в мировую войну. Воспользовавшись убийством в Сараеве наследника австрийского престола, Австрия пред'явила ультиматум Сербии, мобилизовала свою армию и начала бомбардировать Белград. Тогда царское правительство, под влиянием общественного мнения всей России, заявило, что оно не допустит уничтожения Сербии, и об'явило мобилизацию всей русской армии. В ответ на этот акт русского правительства Германия об'явила России ультиматум о немедленной демобилизации и, в виду отказа

России подчиниться этому требованию, об'явила войну России. При таких обстоятельствах Франция решила выполнить до конца все обязательства союзного договора и с своей стороны об'явила о всеобщей мобилизации французской армии. На этот акт Германия ответила об'явлением войны.

Поведение Франции было настолько благородным и бескорыстным во всей этой истории, что все русские министры и сам Николай II не могли не умиляться перед рыцарским образом действий великой страны. „Я был уверен во Франции", сказал Сазонов Палеологу, когда последний сообщил ему телеграмму Вивиани, заявившего о решении Франции выполнить все обязательства союзного договора. А вот что сказал Палеологу Николай II: „Я хотел выразить вам всю свою благодарность, все свое удивление перед вашей страной. Показав себя столь верным союзником, Франция дала миру незабвенный пример патриотизма и лойяльности. Передайте, прошу вас, правительству республики мою горячую благодарность". В ответ на эти царские слова Палеолог заявил, что правительство республики будет тронуто благодарностью его величества, и подчеркнул, что „правительство республики действительно заслуживает вполне такой благодарности за ту решительность и быстроту, с которой оно выполнило свои союзные обязательства".

Итак, главной причиной войны явился конфликт из-за Сербии между Германией и Австрией, с одной стороны, Россией — с другой. Франция оказалась втянутой в эту войну исключительно в силу условий союзного договора, от выполнения которого французское правительство, по своему благород-

ству, конечно, не могло отказаться. К сожалению, Палеолог не рассказывает нам, для чего, собственно, Пуанкаре приезжал в Петроград 20—23 июля, т.-е. за несколько дней до начала войны, какие беседы он вел с Николаем II и с Сазоновым, какая программа действий была выработана во время этих переговоров? Кто поверит, что Пуанкаре приезжал в Петроград только для того, чтобы показать русским сановникам, что президент республики умеет говорить, как настоящий самодержец, или только для того, чтобы увидеть в столице России сильные рабочие волнения и манифестации, направленные одновременно и против царского и против французского правительств и планов, которые замышлялись последними. Кстати, по поводу этих манифестаций Палеолог притворяется будто он верит словам петербургского градоначальника, сообщившего ему о том, что среди арестованных руководителей этих рабочих манифестаций обнаружено много агентов немецкой контр-разведки.

Для чего Палеологу понадобилось в своей книге, напечатанной в виде дневника, так фальсифицировать историю и в совершенно ложном виде изобразить роль Франции в происхождении мировой войны? С какой целью вмешательство Франции в мировую войну изображается лишь как результат желания французского правительства выполнить обязательства союзного договора с Россией, чтобы не скомпрометировать Францию, как державу, не выполняющую подписанных ею договоров? Непонятно, почему французское правительство при таком уважении к союзным договорам так убеждало итальянское правительство „наплевать“ на договор о Тройственном Союзе и об'явить войну и Австрии, и Германии, своим вчерашним союзникам, что, в конце-концов, Италия и сделала.

Автор столько раз в своем дневнике сам повторяет слова о „верности“ Франции союзу или вкладывает эти слова в уста русских государственных деятелей, что невольно возникает вопрос: да неужели соблюдение договора, если этот факт имел действительно место со стороны Франции, представляет столь необычайное явление в истории дипломатии, что о нем французскому дипломату чуть ли не на каждой странице дневника нужно напоминать как самому себе, так и потомству? На самом деле, не Франция, этот новый Карфаген, выполняла все условия союзного договора по отношению к своему наемнику, царской России, а как раз наоборот,—последняя слепо подчинялась приказам из Парижа и выполняла все условия военной конвенции, подписанной русскими генералами и крайне невыгодной для России, ибо эта конвенция заранее обрекала русскую армию на верное поражение[1]) в интересах богатой Франции, осыпавшей золотом царскую династию и царских министров. Что же касается самих обстоятельств, при которых началась война,—несомненно, все дальнейшие шаги царского правительства были предусмотрены во время визита Пуанкаре в Петербур за несколько дней до начала войны, и, ясно, что „Пуанкаре — la guerre“ [2]), который, как проболтался Палеолог, умел говорить как настоящий самодержец,—действительно вел себя в этот момент, как истый повелитель России, и предписал дальнейшую программу действий. Мобилизация 13 корпусов русской армии и все остальные военные

[1]) Подробнее о русско-французской военной конвенции и ее влиянии на неудачный для России ход войны на русском фронте см. „Советская Россия и капиталистическая Франция“, стр. 13—34.

[2]) „Пуанкаре-война“—прозвище Пуанкаре.

меры, вызвавшие войну,—все это, конечно, было заранее разработано и одобрено Пуанкаре. Все было разыграно, как по нотам, и Палеолог сознательно искажает историю, когда изображает дело так, как будто Франция неожиданно оказалась вовлеченной в войну из-за русских интересов.

Та беззастенчивая фальсификация истории, к которой прибегает французский посол, имеет единственной целью оправдать наглые требования, с которыми рыцарская Франция, как бы в награду за ее „верность союзу", обращалась при каждой неудаче на западном фронте к нашему военному комондованию, настаивая на немедленном переходе в наступление русских войск. Пользуясь отсутствием всякого искреннего патриотического чувства у царя и некоторых генералов, являвшихся вершителями судеб русской армии в войну 1914—1917 гг., Франция заставляла царское правительство, этого агента французской плутократии, бросать русские войска в преждевременные и совершенно неподготовленные наступления, что влекло за собой иногда бесславную гибель целых армий, но зато спасло союзников от поражения.

С поразительным цинизмом Палеолог рассказывает, желая, очевидно, подчеркнуть свои великие заслуги перед Францией, как настойчиво требовал он от Сазонова и великого князя Николая Николаевича немедленного перехода в наступление русских армий в начале войны, т.-е., когда лучше вооруженные французские армии отступали перед натиском немцев; с самодовольством описывает, как в беседе 4 августа 1914 г. с великим князем Николаем Николаевичем он прерывает многословные излияния последнего категорическим вопросом: „Через сколько дней, ваше высочество, вы перейдете в наступление?" и вырывает

обещание у Николая Николаевича бросить русские армии в наступление к 14 августа. Он рассказывает далее, как после неудачной для союзной армии битвы при Шарлеруа, закончившейся немецкой победой, он требовал от Сазонова перехода в наступление русской армии, хотя эта операция грозила последней верной неудачей. Вот как передает Палеолог ответ Сазонова на требования перехода русской армии в наступление: „Я не забываю, чем мы обязаны Франции. Равным образом, не забывают этого ни царь, ни великий князь. Следовательно, вы можете быть уверены в том, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь французской армии..., но с практической точки зрения трудности велики. Генерал Жилинский, командующий северо-западным фронтом, находит, что наступление в Восточной Пруссии осуждено на верную неудачу, ибо наши войска еще разъединены, и переброска их наталкивается на многие трудности. Вы знаете, что Мазурская область пересечена многими озерами, лесами и реками. Начальник штаба, генерал Янушкевич, разделяет мнение Жилинского и решительно высказывается против наступления. Но генерал-квартирмейстер Данилов утверждает с неменьшей силой, что мы не имеем права оставлять нашего союзника в опасности, и поэтому, несмотря, на несомненную опасность операции, мы обязаны атаковать немедленно. Великий князь приказал перейти в наступление и, вероятно, операция уже начата".

Итак, было очевидно, что наступление на Восточную Пруссию было обречено на верную неудачу. Тем не менее, по приказу преступного царского правительства, продавшего русскую армию иностранному государству, которое, подобно древнему

Карфагену, было в состоянии сохранить свое положение великодержавной империи и вести войны с соседями лишь с помощью наемных войск, черных, белых, желтых, 400.000 рабов двинулись в Мазурские болота. Вся эта армия в составе 7 корпусов и 3 кавалерийских дивизий погибла в болотах, после победоносного вначале продвижения, вызвавшего панику в Берлине и заставившего немцев снять с западного фронта два корпуса для защиты прусских поместий—и, таким образом, ценой крови русских солдат, Париж был спасен.

После французской победы при Марне, выигранной благодаря жертвам русской армии в Восточной Пруссии,—победы; которая скорее может быть названа русской победой, чем французской, немцы начали медленное отступление к северу, где они заранее подготовили сильные оборонительные позиции. „Если они нас задержат перед этими позициями,—пишет Палеолог,—победа на Марне не будет столь решительна, как можно было бы ожидать". Кто же должен был помочь Франции довершить победу на Марне? Конечно, те самые белые рабы, сотни тысяч которых своим самозакланием в болотах Восточной Пруссии дали возможность одержать победу под стенами Парижа.

„Я не был удивлен,—говорит Палеолог,—получив сегодня утром (14 сент.) телеграмму от Делькассе, в которой он снова поручает мне настаивать перед императорским правительством о немедленном наступлении русских войск против Германии. В Бордо опасаются, что наши союзники, увлеченные своими сравнительно легкими (sic! М. П.) победами в Галиции, не относятся с достаточным вниманием к немецкому фронту, концентрируя все свои силы для открытия пути на Вену".

По получении этой телеграммы Палеолог отправляется к военному министру, и с присущей ему наглостью по отношению к высшим представителям русского командования, ставит категорический вопрос: „Через сколько дней армии районов Немана и Нарева будут способны возобновить движение вперед?".

Сухомлинов указывает Палеологу на невозможность начать наступление через несколько дней, подчеркивает невозможность допустить теперь какую-нибудь неосторожность, намекая на катастрофу в Восточной Пруссии, напоминает, что для спасения французской армии Россия пожертвовала 110.000 человеческих жизней при Сольдау, — но этот ответ вызывает негодование со стороны Палеолога, и последний насмешливо заявляет военному министру: „Мы не виновны в том, что генерал Артамонов отступил на 20 верст на левом фланге, не предупредив главнокомандующего".

В беседе с Сухомлиновым, Сазоновым и другими представителями царского правительства, Палеолог держит себя как рабовладелец, который купил несколько миллионов русских рабов, одел их в солдатские шинели и имеет право распоряжаться этим пушечным мясом. И в передаче Палеолога тон ответов Сазонова, Сухомлинова и других руководителей царской России таков, как будто бы действительно русская армия является армией французского Сенегала,—колонии, откуда Франция набирает свои пресловутые чернокожие ударные полки, три четверти которых погибли, выполняя самые опасные операции против немецкой армии.

Особым цинизмом проникнуты страницы, где Палеолог изливает свое негодование по поводу недостачи снарядов в русской армии, и описывает свои разговоры по этому поводу с Сухомлиновым,

Горемыкиным и другими. Здесь он говорит с пафосом человека, которого нагло обокрали. Помилуйте, столько французских денег было ухлопано на русскую армию—и вдруг оказывается, что последняя должна прервать свое наступление на Берлин из-за недостатка снарядов. Конечно, факт казнокрадства, хищений в русской армии не подлежит сомнению; но мы знаем, что снарядов в первый период кампании не хватало и в Англии, и во Франции, несмотря на то, что Америка щедро снабжала обе эти страны всем необходимым вооружением. Колоссальная нехватка вооружения в русской армии об'ясняется, во-первых, слабостью нашей промышленности по сравнению с германской, во-вторых, колоссальной ежемесячной убылью в винтовках, орудиях и снарядах в результате непрерывных боев (см. „Советская Россия и капиталистическая Франция", стр. 21—28). Требуя в самом повелительном тоне через посредство Палеолога от нашего командования безостановочного движения вперед, Франция одновременно решительно отказалась уступить нам некоторое количество винтовок из своих запасов. Очевидно, русская армия хотя-бы с голыми руками должна была прорываться к Берлину, чтобы дать возможность французскому командованию закончить вооружение своей армии, дождаться прибытия английских и американских войск и только затем двинуться в решительный бой при самых выгодных условиях против обессиленных непрерывными сражениями с русской армией немецких войск.

Как исторический документ, об'емистая книга Палеолога не представляет особой ценности: дневник французского посла носит во многих местах явные следы фальсификации, записей под старыми датами мыслей, занесенных на страницы дневника

гораздо позже. Палеолог относится с особой ненавистью к Сухомлинову, что, конечно, отнюдь не служит к компрометации последнего, а как раз наоборот. Палеолог не мог простить Сухомлинову того обстоятельства, что последний в беседе с послом Франции позволял себе указывать иногда, правда, очень редко, на страшные потери русской армии, на невозможность немедленного перехода в наступление против немцев, и вообще как-будто забывал, что царская Россия является лишь военной колонией Франции и обязана подчиняться беспрекословно приказам метрополии. Однако, следующее место, занесенное в дневник Палеолога под датой 15 августа, то-есть до начала русского наступления на Восточную Пруссию, явно вставлено в дневник гораздо позже, очевидно, для иллюстрации прозорливости, дальновидности французского посла, его умения угадывать людей при первом взгляде. Вот эти любопытные строки:

„Внушающая сомнение личность—этот генерал Сухомлинов. 65-летний возраст; находится под башмаком жены, довольно красивой и моложе его на 32 года; интеллигентный, ловкий, проныра. Раболепный по отношению к царю, друг Распутина; окруженный канальями, которые служат ему посредниками в его интригах и взяточничестве, потерявший способность к труду и сохраняющий все свои силы для брачных наслаждений, недоверчивый вид и глаза вечно настороже, под тяжелыми и сморщенными веками—таков Сухомлинов. Я знаю немногих людей, которые с первого взгляда внушали бы такое к себе недоверие, как Сухомлинов“...

Эти отрывистые строки, как бы незаконченные и неотделанные, должны свидетельствовать о том, что они писались на скорую руку под впечатлением свидания с Сухомлиновым. Но это только

литературный трюк, которым наш дипломат никого не обманет, кроме наивных французских обывателей. На самом деле несомненно, что эти строки написаны после процесса над Сухомлиновым. При всем нашем отрицательном отношении к бывшему царскому министру, в интересах беспристрастия, нужно сказать, между прочим, что те резкие выпады, которыми изобилует книга Палеолога по адресу Сухомлинова, говорят лишь в пользу последнего и заставляют предполагать, что не все преступления, которые вменялись в вину Сухомлинову, могут считаться доказанными. Если судить по книге Палеолога, главное преступление Сухомлинова заключается в том, что этот человек при всей своей продажности, карьеризме и слабоволии никак не мог забыть в иные минуты, что он все же министр русской армии, а не командующий французскими колониальными войсками, обязанный по первому приказу из Парижа бросать свои неподготовленные армии в бой, хотя бы с риском погубить их в неравном бою, с единственной целью дать армиям метрополии возможность выиграть время и выбрать подходящий момент для верной победы...

Значительная часть книги Палеолога посвящена Распутину, императрице, Вырубовой и прочим пикантным сюжетам, крайне интересным для французского обывателя. В этой части французский посол ничего нового нам не сообщает и, очевидно, черпает все свои сведения из салонных разговоров и сплетен.

Под датой 17 окт. 1914 г. Палеолог посвящает свое внимание т. Ленину.

„Не является ли Ленин немецким провокатором?“ — спрашивает Палеолог некоего В., своего информатора, имеющего доступ в революционные

„Нет, — отвечает информатор, — Ленин человек неподкупный. Это — фанатик, но необыкновенно честный, внушающий к себе всеобщее уважение".

„В таком случае, он еще более опасен",—отвечает Палеолог.

Книга Палеолога интересна для нас не столько тем, что автор хотел сказать в своем патриотическом произведении, а как раз наоборот, именно тем, чего автору не удалось скрыть при всей ловкости своих рук, главным образом, факта самой беспощадной эксплоатации русской армии и всех военных рессурсов России в интересах Франции.

М. Павлович.

Царская Россия во время великой войны.

12 января 1914 года правительство Республики назначило меня своим послом при Царе Николае II. Сначала я уклонялся от этой чести по обще-политическим соображениям. Действительно, последние должности, которые я занимал по дипломатическому ведомству, ставили меня в наиболее благоприятное положение для наблюдения за игрой сил, коллективных и единоличных, которая скрыто предшествовала всемирному конфликту.

29787-D

В течение пяти лет, с января 1907 года, я был французским посланником в Софии. Мое продолжительное пребывание в центре балканских дел позволило мне измерить ту опасность, которую представляли собою для существующего в Европе порядка вещей сочетание четырех факторов, подготовлявшееся на моих глазах—я имею в виду: ускорение падения Турции, территориальные вожделения Болгарии, романтическую манию величия царя Фердинанда и, в особенности, наконец—честолюбивые замыслы Германии на Востоке. Из этого опыта я извлек все, что было возможно в смысле поучительности и интереса, когда, 25 января 1912 года, г. Пуанкаре, который перед тем принял председательство в Совете министров и портфель министра иностранных дел, вызвал меня в Париж, чтобы доверить мне управление политическим отделом.

Р. С. Ф. С. Р.
ИНСТИТУТ
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА
В. Ц. И. К.

Это было на следующий день после серьезного спора, который марокккский вопрос и агадирский инцидент возбудили между Германией и Францией

Дурные впечатления, которые я привез из Софии, очень быстро определились и подтвердились С каждым днем мне становилось все более очевидным, что возрастающая непримиримость германского министерства иностранных дел и его тайные интриги должны были неминуемо привести к грядущему конфликту.

Мои предположения показались правительству достаточно обоснованными и оно сочло необходимым внимательно исследовать предполагаемый образ действия наших союзников. В течение мая 1912 года происходили по вечерам секретные совещания на Орсейской набережной, под председательством г. Пуанкаре, при участии военного министра Мильерана, морского министра Делькассе, начальника главного штаба армии генерала Жоффра, начальника морского главного штаба адмирала Обера и меня; следствием их явилось более тесное согласие между центральными государственными органами, на долю которых, в случае войны, должно было выпасть главное напряжение сил при обороне страны.

В продолжение следующих месяцев я несколько раз имел возможность исследовать в пределах совещательной роли, которую налагала на меня моя должность, нет ли возможности улучшить наши отношений с Германией, в кредит отнестись к ней с доверием, найти почву для разговоров с ней, поводы для совместных действий и для честного соглашения. Я думаю, что обладаю достаточно свободным умом, чтобы утверждать, что я приступал к этому изучению с полной об'ективностью. Но каждый раз я был принужден признать, что

всякая снисходительность с нашей стороны была истолкована в Берлине, как знак слабости, из которой императорское правительство пыталось тотчас же извлечь пользу, дабы вырвать у нас новую уступку; что германская дипломатия неуклонно преследовала обширный план гегемонии, и что непреклонность ее намерений увеличивала с каждым днем опасности столкновения. Я же, сверх того, с огорчением должен был констатировать, что шумный пацифизм наших социалистов и партии, подчиненной г. Кайо, вели только к возбуждению высокомерия и жадности в Германии, позволяя ей думать, что ее приемы запугивания могут со временем нас подчинить, и что французский народ готов лучше все претерпеть, нежели прибегнуть к оружию.

При этих условиях 28 декабря 1913 года г. Думерг, председатель Совета министров и министр иностранных дел, предложил мне заменить в посольстве в С. Петербурге г. Делькассэ, временные полномочия которого должны были кончиться. Благодаря его за доверие, я настоятельно просил его перенести свой выбор на другого дипломата; я выдвинул лишь один аргумент, который мне, однако, казался решающим:

— Общее положение Европы предвещает грядующий кризис. Под влиянием соображений, о которых я не имею права судить, республиканское большинство палаты все более склоняется к численному и материальному уменьшению нашей армии; Франция рискует, таким образом, очутиться, перед ужасной альтернативой: военная несостоятельность или национальное унижение. Идеи, которые одерживают верх в палате, и растущее влияние социалистической партии заставляют меня опасаться, чтобы правительство не вздумало тогда избрать национального унижения или, по крайней

мере, чтобы оно не было принуждено его принять. А отказ от франко-русского союза был бы, конечно, первым условием, которое нам навязала бы Германия; к тому же существование этого союза не имело бы более никаких оснований, потому что он имеет единственной целью сопротивляться чрезмерным притязаниям Германии. Но, отрываясь от России, мы потеряли бы необходимую и незаменимую опору нашей политической независимости. Я как посол, не хочу быть орудием этого злосчастного дела.

Г. Думерг старался меня успокоить. Я тем не менее упорствовал в своих возражениях, которые, впрочем, отнюдь не были направлены против него, потому что я знал его твердый патриотизм и справедливость его суждений. Для большей ясности я позволил себе прибавить:

— Пока вы будете сохранять портфель министра иностранных дел, мне нечего бояться. Но я не мог бы забыть, что вашим коллегой и министром финансов является г. Кайо, который, может быть, завтра, вследствие самого ничтожного парламентского происшествия, придет вас заместить в этом самом кабинете, где мы сейчас находимся.... Всего два года, как я заведую политическим отделом, и должен был служить уже при четырех министрах. Да, четыре министра иностранных дел за два года.... Каковы то будут ваши преемники?

Г. Думерг самым сердечным тоном мне ответил:

— Я вижу, что вы упрямы, но я надеюсь, что президент республики сумеет вас лучше убедить, чем я.

Дружба, начавшаяся еще в лицее Людовика-Великого, связывала меня с г. Пуанкаре. 2 января 1914 г. он пригласил меня в Елисейский дворец. Принял меня друг, но говорил со мной президент Республики; он мне сказал, что

совет министров уже обсуждал мое назначение, что выбор г. Думерга утвержден; одним словом, что я должен склониться. Его бодрый патриотизм, его высокое сознание общественного долга, ясная и убедительная логика его слов внушили ему, сверх того, доводы, которые наиболее могли меня тронуть. Я согласился. Но я заметил, что я принимаю поручение и высокую честь представлять Францию в России лишь для того, чтобы исключительно следовать там традиционной политике союза, как единственной, которая позволяет Франции преследовать свою мировую историческую миссию.

Я занимал в течении пяти месяцев пост посла в Петербурге, когда меня вызвали в Париж, чтобы словесно установить подробности визита, который президент Республики намеревался сделать императору Николаю в течении лета.

Выходя на Северном вокзале 5 июня, я узнал, что кабинет Думерга подал в отставку и что г. Буржуа, который согласился составить новое министерство, отказался от этого, признав, что он был бы тотчас же низвергнут палатой, если бы не включил в свою программу отмены военного закона, называемого „законом трех лет"; наконец, газеты об'являли, что Вивиани взял на себя обязанность, от которой отказался Буржуа, и что он надеется найти примирительную формулу, которая бы обеспечила ему содействие крайней левой.

Мое решение было немедленно принято. Приехав к себе, я просил у Бриана несколько минут разговора. Он принял меня на следующее утро. Я тотчас же ему заявил, что решил отказаться от должности посла, если образующийся кабинет не сохранит закона о трехлетней службе, и я просил его сообщить о моем решении Вивиани, которого лично я еще не знал. Он согласился со мной.

— Кризис, который сейчас наступил,—сказал он мне,—один из самых тяжелых, через которые мы проходили. Революционные социалисты и об'единенные радикалы ведут себя, как сумасшедшие: они способны погубить Францию. Признаюсь, однако, что ваш пессимизм меня немного удивляет. Вы действительно так убеждены, что мы накануне войны?

— У меня есть внутреннее убеждение, что мы идем навстречу грозе. В какой точке горизонта и в какой день она разрещится? Я не сумел бы этого сказать. Но отныне война неизбежна, и в скором времени. Я сделал, по крайней мере, все от меня зависящее, чтобы открыть глаза французскому правительству.

— Вы очень встревожили меня. Прощайте. Я спешу к Вивиани.

— Еще одно слово,—сказал я ему,—условимся, что мой разговор с вами останется тайной.

— Это само собою разумеется.

Два часа спустя газета „Paris Midi" сообщала, под сенсационным заголовком, что я угрожал своей отставкой Вивиани, если министерская декларация не поддержит полностью военного закона. Немного времени спустя стало известно, что Вивиани отказывается составить кабинет. В кулуарах палаты, где волнение было весьма велико, он кратко об'яснил, что не мог заставить своих будущих сотрудников принять формулу, которую он считал необходимой, по вопросу о трехлетней службе. Так как его спросили, не согласен ли он попытаться сделать новое усилие, чтобы разрешить кризис, он ответил с жестом гнева и отвращения:

— Конечно нет. Мне надоело бороться против республиканцев, которые плюют мне в лицо, когда я говорю с ними о внешнем положении.

На следующий день меня, как и следовало ожидать, ругала вся пресса крайней левой. В Бурбонском дворце революционные социалисты и об'единенные радикалы требовали моего смещения.

Но после нескольких дней парламентского возбуждения и беспорядка, в общественном мнении произошла здоровая реакция. Вновь призванному для образования кабинета Вивиани удалось сгруппировать вокруг себя сотрудников, которые согласились поддерживать трехлетнюю службу.

18 июня Вивиани, переселившийся с предыдущего дня на Орсейскую набережную, пригласилменя. Я впервые в этот раз имел с ним дело. У него был угрюмый вид, бледное лицо и нервныя движения.

— Ну, что же, — резко спросил он меня, — вы верите в войну?... Бриан рассказал мне о вашем разговоре.

— Да, я думаю, что война угрожает нам в скором времени, и что мы должны к ней готовиться.

Тогда, в отрывочных словах, он забросал меня вопросами, не давая мне иногда времени ответить.

— В самом деле, война может вспыхнуть?... По какой причине?... Под каким предлогом?... В какой срок?... Всеобщая война?... Всемирный пожар?..

Грубое слово вырвалось из его уст и он ударил кулаком по столу.

Помолчав, он провел рукой по лбу, как бы для того, чтобы прогнать дурной сон. Затем он заговорил более спокойным тоном:

— Будьте добры повторить мне, мой милый посол, все, что вы мне сказали. Это так важно.

Я подробно изложил ему свои мысли и заключил:

— Во всяком случае, и даже, если мои предчувствия слишком пессимистичны, мы должны, насколько возможно, укрепить систему наших союзов. Главным образом необходимо, чтобы мы довершили

наше соглашение с Англией, надо, чтобы мы могли рассчитывать на немедленную помощь ее флота и ее армии.

Когда я изложил ему все, он снова провел рукою по лбу и, устремив на меня тоскливый взгляд, спросил меня:

— Вы не можете мне указать, хотя бы в виде предположения, в какой срок, как вы себе представляете, произойдут непоправимыя события и разразится гроза?

— Мне представляется невозможным назначить какой-нибудь срок. Однако же, я был бы удивлен, если бы состояние наэлектризованной напряженности, в которой живет Европа, не привело бы в скором времени к катастрофе.

Внезапно он преобразился, его лицо озарилось мистическим светом, его стан выпрямился.

— Ну, что же, если это так должно быть, мы исполним наш долг, наш долг сполна. Франция снова окажется такой, какой она всегда была, способной на любой гороизм и на любые жертвы. Снова наступят великие дни 1792 года.

В его голосе было как-бы вдохновение Дантона. Пользуясь его волнением, я спросил у него:

— Итак, вы решили полностью поддержать военный закон, и я могу заявить об этом императору Николаю?

— Да, вы можете заявить, что трехлетняя служба будет сохранена без ограничений и что я не допущу ничего, что могло бы ослабить наш союз с Россией.

В заключение он долго расспрашивал меня об императоре Вильгельме, об его новых намерениях, об его истинных чувствах по отношению к Франции и т. д. Затем он поверил мне причину этого тщательного допроса:

— Я должен спросить у вас совета... Князь Монакский дал знать моему коллеге по палате Х., что император Вильгельм был бы счастлив переговорить с ним этим летом во время гонки судов в Киле. Х. склонен туда отправиться... Не думаете ли вы, что этот разговор мог бы смягчить положение?

— Я никоим образом этого не думаю. Это все время одна и та же игра... Император Вильгельм похоронит Х. под цветами; он уверит его, что его самое горячее желание, его единственная мысль— добиться дружбы, даже любви Франции, и он засыплет его знаками внимания. Таким образом, он придаст себе в глазах людей вид самого миролюбивого, самого безобидного, самого сговорчивого монарха. Наше общественное мнение и первый— сам Х. — дадут себя обольстить этой прекрасной внешностью. А в это самое время вы должны будете бороться с оффициальной действительностью немецкой дипломатии, с ее систематическими приемами непримиримости и придирок.

— Вы правы. Я отговорю Х. ехать в Киль.

Так так, повидимому, ему больше нечего было мне сказать, я спросил у него предписаний, касающихся визита президента Республики к императору Николаю. Затем я простился с ним. 26 июня я возвратился в С.-Петербург.

Теперь я могу просто предоставить слово моему дневнику. Записи, составляющие его, заносились ежедневно; те, которые имеют отношение к политике, отчасти удостоверяются моей официальной корреспонденцией.

Пусть не удивляются, если соображения приличия и скромности часто заставляли меня заменять имена лиц фиктивными инициалами.

I.

Визит президента Республики к императору Николаю.

(20—23 июля 1914 года).

Понедельник, 20 июля 1914 года.

Я покидаю С.-Петербург в десять часов утра на адмиралтейской яхте, чтобы отправиться в Петергоф. Министр иностранных дел Сазонов, русский посол во Франции Извольский и мой военный атташе, генерал Лагиш, сопутствуют мне, так как император пригласил нас всех четверых завтракать на его яхту перед тем, как отправиться навстречу президенту Республики в Кронштадт. Чины моего посольства, русские министры и сановники двора будут доставлены прямо по железной дороге в Петергоф.

Погода пасмурная. Между плоскими берегами наше судно скользит с большой быстротой к Финскому заливу. Внезапно свежий ветер, дующий с открытого моря, приносит нам проливной дождь, но также внезапно появляется и блистает солнце. Несколько облаков, жемчужно-матового цвета, прорезанные лучами, носятся там и здесь по небу, как шелковые шарфы, испещренные золотом. И ясно освещенное устье Невы развертывает, насколько хватает глаз, свои зеленоватые, тяжелые, подернутые волнами воды, которые заставляют меня вспоминать о венецианских лагунах.

В половине двенадцатого мы останавливаемся в маленькой гавани Петергофа, где „Александрия“, любимая яхта императора, стоит под парами.

Николай II, в адмиральской форме, почти тотчас же подъезжает к пристани. Мы пересаживаемся на „Александрию“. Завтрак немедленно подан. До прибытии „Франции“ в нашем распоряжении по крайней мере час и три четверти. Но император любит засиживаться за завтраком. Между блюдами делают долгие промежутки, во время которых он беседует, куря папиросы. Я занимаю место справа от него, Сазонов слева, а граф Фредерикс, министр Двора, напротив.

После нескольких общих фраз, император выражает мне свое удовольствие по поводу приезда президента Республики.

— Нам надо поговорить серьезно,—говорит он мне.—Я убежден, что по всем вопросам мы сговоримся... Но есть один вопрос, который особенно меня занимает: наше соглашение с Англией. Надо, чтобы мы привели ее к вступлению в наш союз. Это был бы залог мира.

— Да, государь, тройственное согласие не может считать себя слишком сильным, если хочет охранить мир.

— Мне говорили, что вы лично обеспокоены намерениями Германии?...

Намекает ли он на обстоятельства моего последнего пребывания во Франции, на мое требование отставки? Я не знаю.

— Обеспокоен? Да, государь, я обеспокоен, хотя у меня нет теперь никакой определенной причины предсказывать немедленную войну. Но император Вильгельм и его правительство допустили создаться в Германии такому состоянию духа, что, если возникнет какой-нибудь спор в Марокко, на Востоке,

безразлично где, они не смогут более ни отступить, ни мириться. Какой бы то ни было ценой, им будет необходим успех. И чтобы его получить, они бросятся в авантюру.

Император на минуту задумывается:

— Я не могу поверить, чтобы император Вильгельм желал войны... Если бы вы его знали, как я. Если бы знали, сколько шарлатанства в его позах...

— Возможно, что я, в сущности, приписываю слишком много чести императору Вильгельму, когда считаю его способным иметь волю или просто принимать на себя последствия своих поступков. Но если бы война стала угрожающей, захотел ли бы и смог ли бы он помешать? Нет, государь, говоря, откровенно, я этого не думаю.

Император остается безмолвным, пускает несколько колец дыма из своей папироски; затем, решительным тоном продолжает:

— Тем более важно, чтобы мы могли расчитывать на англичан в случае кризиса. Германия не осмелится никогда напасть на об'единенную Россию, Францию и Англию, иначе, как если совершенно потеряет рассудок.

Едва подан кофе, как дают сигналы о прибытии французской эскадры. Император заставляет меня подняться с ним на мостик. Зрелище величественное. В дрожащем серебристом свете на бирюзовых и изумрудных волнах „Франция" медленно подвигается вперед, оставляя длинную струю за кормой, затем величественно останавливается. Грозный броненосец, который привозит главу французского правительства, красноречиво оправдывает свое название: это действительно Франция идет к России. Я чувствую, как бьется мое сердце.

В продолжение нескольких минут рейд оглашается громким шумом: выстрелы из пушек эскадры

и сухопутных батарей, ура судовых команд, марсельеза в ответ на русский гимн, восклицания тысяч зрителей, приплывших из Петербурга на яхтах и лодках и т. д.

Президент республики подплывает, наконец, к „Александрии", император встречает его у трапа. Как только представления окончены, императорская яхта поворачивает носом к Петергофу.

Сидя на корме, император и президент тотчас же вступают в беседу, я сказал бы скорее— в переговоры, так как видно, что они говорят о делах, что они взаимно друг друга спрашивают, что они спорят. Повидимому, Пуанкаре направляет разговор. Вскоре говорит он один. Император только соглашается; но все его лицо свидетельствует о том, что он искренно одобряет, что он чувствует себя в атмосфере доверия и симпатии.

Но вскоре мы приплываем в Петергоф. Сквозь великолепный парк и бьющие фонтаны воды, любимое жилище Екатерины II показывается на верху длинной террасы, с которой величественно ниспадает пенящийся водопад.

Наши экипажи скорой рысью поднимаются по аллее, которая ведет к главному подъезду дворца. При всяком повороте открываются далекие виды, украшенные статуями, фонтанами или балюстрадами. Несмотря на всю искусственность обстановки, здесь, при ласкающем дневном свете, вдыхаешь живой и очаровательный аромат Версаля.

В половине восьмого начинается торжественный обед в зале императрицы Елизаветы. По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества, зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучи-

стость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Это—фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов, поток света и огня.

В этой волшебной рамке черная одежда Пуанкаре производит неважное впечатление. Но широкая голубая лента ордена св. Андрея, которая пересекает его грудь, увеличивает в глазах русских его престиж. И затем, его лицо, особенно по сравнению с лицом его августейшего хозяина, так умно, так живо, так решительно, что оно импонирует всем. Наконец, все вскоре замечают, что император слушает его с серьезным и покорным вниманием.

В течение обеда я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой я сидел. Хотя длинные церемонии являются для нее очень тяжелым испытанием, она захотела быть здесь в этот вечер, чтобы оказать честь президенту союзной Республики. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье из белой парчи, выглядит еще довольно красиво. Несмотря на свои сорок два года, она еще приятна лицом и очертаниями. С первой перемены кушаний она старается завязать разговор с Пуанкаре, который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы. И ее лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина видимо борется с истерическим припадком. Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы произнести тост.

Августейшее слово выслушано с благоговением; но особенно хочется всем услышать ответ. Вместо того, чтобы прочесть свою речь, как сделал импе-

ратор, Пуанкаре говорит ее наизусть. Никогда его произношение не было более ясным, более определенным, более внушительным. То, что он говорит, не более, как пошлое дипломатическое пустословие, но слова в его устах приобретают замечательную силу, значение и властность. Это собрание, воспитанное в деспотических традициях и в дисциплине двора, заметно заинтересовано. Я убежден, что, среди всех этих обшитых галунами сановников, многие думают: „Вот, как должен был бы говорить самодержец".

После обеда император собирает около себя кружок. Поспешность, с которой представляются Пуанкаре, свидетельствует мне об его успехе. Даже немецкая партия, даже ультра-реакционное крыло, домогаются чести приблизиться к Пуанкаре.

В одинадцать часов составляется шествие. Император провожает президента Республики до его покоев.

Там Пуанкаре задерживает меня в течение нескольких минут. Мы обмениваемся нашими впечатлениями, которыми мы оба вполне довольны.

Возвратясь в Петербург по железной дороге в три четверти первого, я узнаю, что сегодня, после полудня, без всякого повода, по знаку, идущему неизвестно откуда, забастовали главнейшие заводы, и что в нескольких местах произошли столкновения с полицией. Мой осведомитель, хорошо знающий рабочую среду, утверждает, что движение было вызвано немецкими агентами.

Вторник, 21 июля 1914 г.

Президент Республики посвящает сегодняшний день осмотру Петербурга. В половине второго я отправляюсь ожидать его на императорской пристани вблизи Николаевского моста. Морской министр, градоначальник, комендант города и го-

родские власти находятся там, чтобы его встретить. Согласно старинному славянскому обычаю, граф Иван Толстой, городской голова столицы, подносит хлеб-соль. Затем мы садимся в экипаж, чтобы отправиться в Петропавловскую крепость, являющуюся государственной тюрьмой и вместе—усыпательницей Романовых. Согласно обычаю, президент возложит венок на могилу Александра III, творца союза.

Наши экипажи крупной рысью едут вдоль Невы, сопровождаемые гвардейскими казаками, ярко-красные мундиры которых сверкают на солнце.

Несколько дней тому назад, когда я устанавливал с Сазоновым последние подробности визита президента, он сказал мне, смеясь:

— Гвардейские казаки назначены для сопровождения президента. Вы увидите, какое они представят красивое зрелище. Это великолепные и страшные молодцы. Кроме того, они одеты в красное. А я думаю, что г. Вивиани не относится с ненавистью к этому цвету.

Я ответил:

— Нет, он его не ненавидит, но его глаз артиста наслаждается им вполне лишь тогда, когда он соединен с белым и с синим.

В своих красных мундирах эти казаки, бородатые и косматые, действительно наводят ужас. Когда наши экипажи исчезают вместе с ними под главными воротами крепости, какой-нибудь иронический наблюдатель, любитель исторических антитез, мог бы спросить себя, не в государственную ли тюрьму провожают они этих двух доказанных, патентованных „революционеров“ — Пуанкаре и Вивиани, не считая меня, их сообщника. Никогда еще моральная противоположность, молчаливая двусмысленность, которые лежат в глубине франко-русского союза, не являлись мне с такой силой.

В три часа президент принимает делегатов французских колоний Петербурга и всей России. Они приехали из Москвы, из Харькова, из Одессы, из Киева, из Ростова, из Тифлиса. Представляя их Пуанкаре, я могу сказать ему с полной искренностью:

— Их готовность явиться вас приветствовать нисколько меня не удивила, так как я каждый день вижу, с каким усердием и любовью французские колонии в России хранят культ далекой родины. Ни в одной из провинций нашей старой Франции, господин президент, вы не найдете лучших французов, чем те, которые находятся здесь, перед вами.

В четыре часа шествие снова выстраивается, чтобы сопровождать президента в Зимний дворец, где должно состояться дипломатическое собрание.

На всем пути нас встречают восторженными приветствиями. Так приказала полиция. На каждом углу кучки бедняков оглашают улицы криками „ура", под наблюдением полицейского.

Зимний дворец выглядит, как в самые торжественные дни. Этикет требует, чтобы посланники один за другим вводились к президенту, слева от котораго стоит Вивиани. А я представляю ему моих иностранных коллег.

Первым входит германский посол, граф Пурталес, старейшина дипломатического корпуса. Я предупредил Пуанкаре, что мой предшественник, Делькассе, едва соблюдал необходимую вежливость по отношению к этому очень учтивому человеку, и я просил президента оказать ему хороший прием. Итак, президент принимает его с подчеркнутой приветливостью. Он спрашивает его о французском происхождении его семьи, о родстве его жены с фамилией Кастеллан, о поездке на автомобиле, которую граф и графиня предполагают сделать

через Прованс и именно в Кастеллан и т. д. Ни слова о политике. Затем я представляю моего японского коллегу, барона Мотоно, которого Пуанкаре когда-то знал в Париже. Разговор их краток, но не лишен значения. В нескольких фразах выражен и предположительно решен принцип присоединения Японии к тройственному согласию.

После Мотоно я ввожу моего английского коллегу, сэра Джорджа Бьюкенена. Пуанкаре заверяет его, что император решил держаться самого примирительного образа действий в персидских делах, и он настаивает на том, чтобы британское правительство поняло, наконец, необходимость преобразовать тройственное согласие в тройственный союз.

Совсем поверхностный разговор с послами Италии и Испании.

Наконец, приходит мой австро-венгерский коллега, граф Сапари, типичный венгерский дворянин, безукоризненный по манерам, посредственного ума, неопределенного образования. В течение двух месяцев он отсутствовал из Петербурга, вынужденный оставаться при больных жене и сыне. Он неожиданно вернулся третьего дня. Из этого я вывел заключение, что австро-сербская распря усиливается, что там произойдет взрыв и что необходимо, чтобы посол был на своем посту, дабы поддерживать спор и принять свою долю ответственности. Пуанкаре, которого я предупредил, ответил мне:

— Я попытаюсь выяснить это.

После нескольких слов сочувствия по поводу убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, президент спрашивает у Сапари:

— Имеете ли вы известия из Сербии?

— Судебное следствие продолжается,—холодно отвечает Сапари.

Пуанкаре снова говорит:

— Результаты этого следствия не перестают меня занимать, господин посол, так как я вспоминаю два предыдущих следствия, которые не улучшили ваших отношений с Сербией... Вы помните, господин посол... дело Фрид'юнга и дело Прохаски...

Сапари сухо возражает:

— Мы не можем терпеть, господин президент, чтобы иностранное правительство допускало на своей территории подготовку покушения против представителей нашей верховной власти.

Самым примирительным тоном Пуанкаре старается доказать ему, что при нынешнем состоянии умов в Европе, все правительства должны усвоить осторожность.

— При некотором желании это сербское дело легко может быть покончено. Но так же легко оно может разрастись. У Сербии есть очень горячие друзья среди русского народа. И у России — союзница — Франция. Сколько осложнений следует бояться!

Затем он благодарит посла за его визит. Сапари кланяется и выходит, не говоря ни слова.

Когда мы все трое остаемся одни, Пуанкаре нам говорит:

— Я вынес дурное впечатление из этого разговора. Посол явно получил приказание молчать... Австрия подготовляет неожиданное выступление. Необходимо, чтобы Сазонов был тверд и чтобы мы его поддержали...

Мы переходим затем в соседнюю залу, где представители второстепенных держав выстроены по старшинству.

Стесненный временем, Пуанкаре проходит перед ними быстрым шагом, пожимая им руки. Их разочаро-

вание можно угадать по их лицам. Они все надеялись услышать от него несколько содержательных и туманных слов, из которых бы они составили длинные донесения своим правительствам. Он останавливается только перед сербским посланником Спалайковичем, которого утешает двумя или тремя сочувственными фразами.

В шесть часов — посещение французской больницы, где президент закладывает первый камень здания аптеки.

В восемь часов — парадный обед в посольстве. Стол накрыт на восемьдесят шесть приборов. Дом, отделанный заново, выглядит торжественно. Государственные мебельные кладовые уступили мне удивительную серию гобеленов, среди них Триумф Марка-Антония и Триумф Мардохея, работы Натуара, которые пышно украшают парадную залу. Я обновил также ливреи. Наконец, я выписал из Парижа садовника Леметра, у которого такой изобретательный вкус: все посольство украшено розами и орхидеями.

Приглашенные приезжают, одни наряднее других. Их выбор был для меня сущим мучением, вследствие бесконечного соперничества и зависти, которые вызывает жизнь при Дворе: распределение мест за столом было еще более трудной задачей. Но мне так удачно помогают мои секретари, что обед и вечер проходят прекрасно.

В одиннадцать часов президент удаляется. Я сопровождаю его в здание городской думы, где петербургское общественное управление дает праздник офицерам французской эскадры. Впервые здесь глава иностранного государства удостаивает своим присутствием прием городского управления. Зато и встреча из самых горячих.

В полночь президент отправляется обратно в Петергоф.

Большие демонстрации продолжались сегодня в фабричных кварталах Петербурга. Градоначальник уверял меня сегодня вечером, что движение остановлено и что работа завтра возобновится. Он утверждал, наконец, что среди арестованных вожаков опознали несколько известных агентов немецкого шпионажа. С точки зрения союза, это обстоятельство достойно внимания.

Среда, 22 июля 1914 г.

В полдень император дает завтрак президенту Республики в петергофском дворце. Ни императрица и ни одна дама не присутствуют. Приборы накрыты на маленьких столиках, каждый на десять или двенадцать приглашенных. На дворе стоит сильная жара, но через открытые окна тень и воды парка посылают нам дуновения свежести. Я сижу за столом императора и президента, с Вивиани, адмиралом Ле-Бри, командующим французской эскадрой, Горемыкиным, председателем Совета министров, графом Фредериксом, министром Двора, и, наконец, Сазоновым и Извольским.

Я сижу слева от Вивиани; справа от него граф Фредерикс. Граф Фредерикс, которому скоро минет семдесят семь лет, вполне олицетворяет жизнь Двора. Из всех подданных царя на него сыплется больше всего почестей и титулов. Он—министр императорского Двора и уделов, генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии, член Государственного Совета, канцлер императорских орденов, главноуправляющий кабинетом его величества.

Все его долгое существование протекло во дворцах и придворных церемониях, в шествиях и в каре-

тах, под шитьем и галунами, По своей должности он превосходит самых высоких сановников Империи и посвящен во все тайны императорской фамилии. Он раздает от имени императора все милости и все дары, все выговоры и все кары. Великие князья и великие княгини осыпают его знаками внимания, так как это он управляет их делами, он заглушает их скандалы, он платит их долги. Несмотря на всю трудность его обязанностей, нельзя указать ни одного его врага, столько у него вежливости и такта. К тому же он был одним из самых красивых людей своего поколения, одним из самых изящных кавалеров, и его успехи у женщин неисчислимы. Он сохранил свою стройную фигуру, свои очаровательные манеры. В отношении физическом и моральном он — совершенный образец своего звания, высший блюститель обрядов и чинопочитания, приличий и традиций, учтивости и светскости.

В половине четвертого мы уезжаем в императорском поезде в деревню и лагерь Красное Село, где я буду воспоминать об Анне Карениной.

Сверкающее солнце освещает обширную равнину, волнистую и бурую, ограниченную холмами на горизонте. В то время, как император, императрица, президент Республики, великие князья, великие княгини и вся императорская свита осматривают расположение войск, я жду со статскими и министрами, на возвышении, где раскинуты палатки. Цвет петербургского общества теснится на нескольких трибунах. Светлые туалеты женщин, их белые шляпы, белые зонтики блистают, как купы азалий.

Но вот вскоре показывается и императорский кортеж. В коляске, запряженной цугом, императрица и справа от нее президент Республики, на-

против нее—две ее старшие дочери. Император скачет верхом справа от коляски в сопровождении блестящей толпы великих князей и ад'ютантов. Все останавливаются и занимают места на холме, который господствует над равниной. Войска, без оружия, выстраиваются шеренгой, сколько хватает глаз, перед рядом палаток. Их линия проходит у самого подножья холма.

Солнце опускается к горизонту, на пурпурном и золотом небе, на небе для апофеоза. По знаку императора, пушечный залп дает сигнал к вечерней молитве. Музыка исполняет религиозный гимн. Все обнажают головы. Унтер-офицер читает громким голосом Отче наш: тысячи и тысячи людей молятся за императора и за Святую Русь. Безмолвие и сосредоточенность этой толпы, громадность пространства, поэзия минуты, дух союза, который парит над всем, сообщают обряду волнующую величественность.

Из лагеря мы возвращаемся в деревню Красное Село, где великий князь Николай Николаевич, командующий войсками гвардии и петербургского военного округа, предполагаемый верховный главнокомандующий русских армий, дает обед президенту Республики и чете монархов.

Три длинных стола поставлены под полуоткрытыми палатками около сада в полном цвету. Клумбы цветов, только что политые, испускают в тепловатом воздухе свежий растительный запах, который приятно вдыхать после этого жаркого дня.

Я приезжаю одним из первых. Великая княгиня Анастасия и ее сестра великая княгиня Милица, встречают меня с энтузиазмом. Обе черногорки говорят одновременно.

— Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра, на смотру,

музыканты будут играть только Лотарингский марш и марш Самбры и Мезы... Я получила сегодня от моего отца телеграмму в условных выражениях: он об'являет мне, что раньше конца месяца у нас будет война.... Какой герой, мой отец...: Он достоин „Илиады“.... Вот посмотрите эту бонбоньерку, которая всегда со мной, она содержит землю Лотарингии, да, землю Лотарингии, которую я взяла по ту сторону границы, когда я была с моим мужем во Франции, два года назад. И затем, посмотрите еще там, на почетном столе: он покрыт чертополохом, я не хотела, чтобы там были другие цветы. Ну, что же, это—чертополох Лотарингии. Я сорвала несколько веток его на отторгнутой территории. Я привезла их сюда и распорядилась посеять их семена в моем саду... Милица, поговори еще с послом, скажи ему обо всем, что представляет дня нас сегодняшний день, пока я пойду встречать императора...

На обеде я сижу слева от великой княгини Анастасии. И дифирамб продолжается, прерываемый предсказаниями: „Война вспыхнет... от Австрии больше ничего не останется.... Вы возьмете обратно Эльзас и Лотарингию.... Наши армии соединятся в Берлине... Германия будет уничтожена“.... Затем внезапно:

— Я должна сдерживаться, потому что император на меня смотрит...

И под строгим взглядом царя черногорская сивилла внезапно успокаивается.

Когда обед кончен, мы идем смотреть балет в красивом императорском театре при лагере.

Четверг, 23 июля 1914 г.

Сегодня утром смотр в Красном Селе. Шестьдесят тысяч человек участвуют в нем. Великолепное зрелище могущества и блеска. Пехота проходит под марш Самбры и Мезы и Лотарингский марш. Как внушителен этот военный аппарат, который царь всей России развертывает перед президентом союзной Республики, сыном Лотарингии.

Император верхом у подножья холма, на котором возвышается императорский павильон. Пуанкаре сидит справа от императрицы, перед павильоном: несколько взглядов, которыми он обменивается со мной, показывают мне, что у нас одни и те же мысли.

Сегодня вечером прощальный обед на борту „Франции". Тотчас после него французская эскадра снимется с якоря и направится в Стокгольм.

Императрица сочла долгом сопровождать императора. Все великие князья и все великие княгини находятся здесь.

Около семи часов короткий шквал немного попортил цветочные украшения палубы. Тем не менее, вид стола прекрасен: он имеет даже род наводящей ужас величественности, чему способствуют четыре гигантские 305-миллиметровые пушки, которые вытягивают свои громадные стволы над гостями. Небо уже прояснилось, легкий ветерок ласкает волны, на горизонте встает луна.

Между царем и президентом беседа не прерывается.

Издали, несколько раз, великая княгиня Анастасия поднимает ко мне свой бокал с шампанским, указывая мне круговым жестом на воинственную обстановку, которая нас окружает.

Наконец начинаются тосты. Пуанкаре кидает заключительную фразу:

— У обеих стран один общий идеал мира—в силе, чести и величии.

Эти последние слова, которые, действительно было необходимо услышать, вызывают бурю аплодисментов. Великий князь Николай Николаевич, великая княгиня Анастасия, великий князь Николай Михайлович глядят на меня сверкающими глазами.

Между тем, время отхода приближается. Император выражает Пуанкаре желание продлить разговор еще на несколько минут.

— Если бы мы поднялись на мостик, г. президент? Там нам было бы спокойнее.

Таким образом, я остаюсь один с императрицей, которая предлагает мне сесть в кресло, с левой стороны от себя. Бедная государыня кажется измученной и усталой. С судорожной улыбкой она говорит мне слабым голосом: „Я счастлива, что пришла сегодня вечером. Я очень боялась грозы... Украшения корабля великолепны... Во время переезда президента будет хорошая погода"... Но вдруг она подносит руки к ушам. Затем застенчиво, со страдающим и умоляющим видом, она указывает мне на музыкантов эскадры, которые совсем близко от нас начинают яростное allegro, подкрепляемое медными инструментами и барабаном:

— Не могли ли бы вы...—шепчет она. Я догадываюсь, откуда происходит ее неприятное чувство, и делаю рукой знак капельмейстеру, который, ничего не понимая, совсем останавливает оркестр.

— О, благодарю, благодарю,—говорит мне императрица, вздыхая.

Молодая великая княжна Ольга, которая сидит на другом борту корабля с остальной частью императорской фамилии и членами французской мис-

сии, наблюдает за нами с беспокойством в течении нескольких минут.

Она быстро встает, скользит к своей матери с легкой грацией и говорит ей два-три слова совсем тихо.

Затем, обращаясь ко мне, она продолжает:

— Императрица немного устала, но она просит вас, господин посол, остаться и продолжать с ней разговаривать.

В то время, как она удаляется легкими и быстрыми шагами, я возобновляю разговор. Как раз в этот момент появляется луна, в окружении хлопковатых, медлительных облаков: весь Финский залив освещен ею. Моя тема найдена: я восхваляю очарование морских путешествий. Императрица молчаливо меня слушает, с пустым и напряженным взглядом, со щеками, покрытыми пятнами, с неподвижными и надутыми губами. Через десять минут, которые мне кажутся бесконечными, император и президент Республики спускаются с мостика.

Одиннадцать часов. Наступает время отъезда. Стража берет на караул, раздаются короткие приказания, шлюпка „Александрии" подходит к „Франции". При звуках русского гимна и марсельезы обмениваются прощальными привествиями. Император выказывает по отношению к президенту Республики большую сердечность. Я прощаюсь с Пуанкаре, который любезно назначает мне свидание в Париже, через две недели.

Когда я почтительно кланяюсь императору у трапа, он говорит мне:

— Господин посол, поедемте со мной, прошу вас. Мы можем поговорить совсем спокойно на моей яхте. А затем вас отвезут в Петербург.

С „Франции" мы пересаживаемся на „Александрию". Только императорская фамилия сопро-

вождает их величества. Министры, сановники, свита и мои чиновники возвращаются прямо в Петербург, на адмиралтейской яхте.

Ночь великолепная. Млечный Путь развертывается, сверкающий и чистый, в бесконечном эфире. Ни единого дуновения ветра. „Франция“ и сопровождающий ее отряд судов быстро удаляются к западу, оставляя за собой длинные, пенистые ленты, которые сверкают при луне, как серебряные ручьи.

Когда вся императорская свита собралась на борту, адмирал Нилов приходит выслушать приказания императора, который говорит мне:

— Эта ночь великолепна. Если бы мы прокатились по морю.....

„Александрия“ направляется к финляндскому берегу. Усадив меня около себя, на корме яхты, император рассказывает мне про беседу, которая у него только что была с Пуанкаре:

— Я в восторге от моего разговора с президентом, мы удивительно сговорились. Я не менее миролюбив, чем он, и он не менее, чем я, решительно настроен сделать все, что будет нужно, чтобы не допустить нарушения мира. Он опасается австро-германского движения против Сербии и он думает, что мы должны будем на него ответить тесным и прочным согласием нашей дипломатии. Я думаю так же. Мы должны будем показать себя столь же непоколебимыми, как и об'единенными в поисках мировых сделок и необходимых средств к примирению. Чем труднее будет положение, тем более об'единенными и непоколебимыми мы должны быть.

— Эта политика кажется мне самой мудростью..... Я боюсь, чтобы нам не пришлось применить ее в скором времени.

— Вы все еще тревожитесь?...

— Да, государь.

— У вас есть новые причины беспокойства?...

— У меня есть, по крайней мере, одна,— нежиданное возвращение моего коллеги Сапари и холодная, враждебная осторожность, в которую он замкнулся третьего дня перед президентом Республики.... Германия и Австрия готовят нам взрыв.

— Чего они могут желать?... Доставить себе дипломатический успех насчет Сербии?... нанести урон тройственному согласию?.... Нет, нет... несмотря на всю видимость, император Вильгельм слишком осторожен, чтобы кинуть свою страну в безумную авантюру.... А император Франц-Иосиф хочет умереть спокойно.

В течение минуты он остается молчаливым, как если бы он следил за неясною мыслью. Затем он встает и делает несколько шагов по палубе. Вокруг нас великие князья, стоя, выжидают минуты, когда они смогут, наконец, приблизиться к повелителю, который скупо наделяет их несколькими незначительными слозами. Он их подзывает, одного за другим, и, кажется, выказывает им всем полную непринужденность, благосклонную дружественность, как бы для того, чтобы заставить их забыть расстояние, на котором он их держит обычно, и правило, которое он принял, никогда не говорить с ними о политике.

Великий князь Николай Михайлович, великий князь Павел Александрович, великая княгиня Мария Павловна меня окружают, поздравляя себя и меня с тем, что визит президента так удался. На языке двора это значит, что монарх доволен.

Между тем, великие княгини Анастасия и Милица, „две черногорки", отводят меня в сторону:

— О, этот тост президента, вот, что надо было сказать, вот чего мы ждали так долго.... Мир,—

в силе, чести и величии.... Запомните хорошенько эти слова, господин посол, они отметят дату в мировой истории...

В три четверти первого „Александрия“ бросает якорь в Петергофской гавани. Расставшись с императором и императрицей, я перехожу на борт яхты „Стрела“, которая отвозит меня в Петербург, где я схожу на берег в половине третьего утра. Плывя по Неве под звездным небом, я думаю о пылком пророчестве черногорских сибилл.

II.

Накануне войны—24 июня—2 Августа 1914 г.

Пятница, 24 июля 1914 г.

Очень утомленный этими четырьмя днями бес прерывного напряжения, я надеялся немного отдохнуть и приказал моим слугам не будить меня. Но в семь часов утра звонок телефона внезапно нарушил мой сон; мне сообщают, что вчера вечером Австрия вручила свой ультиматум Сербии.

В первый момент и в том состоянии сонливости, в котором я нахожусь, новость производит на меня странное впечатление неожиданности и достоверности. Событие является мне в одно и то же время нереальным и достоверным, воображаемым и несомненным. Мне кажется, что я продолжаю мой вчерашний разговор с императором, что я излагаю гипотезы и предположения. В то же время у меня сильное, положительное, неопровержимое ощущение совершившегося факта. В течение утра начинают прибывать подробности того, что произошло в Белграде...

В половине первого Сазонов и Бьюкенен собираются у меня, чтобы переговорить о положении. Наш разговор, прерванный завтраком, тотчас же возобновляется. Основываясь на тостах, которыми обменялись император и президент, на взаимных декларациях двух министров иностранных дел, наконец, на ноте, сообщенной вчера агентством

Гаваса, я не колеблюсь высказаться за политику твердости.

— Но если эта политика должна привести нас к войне..., —говорит Сазонов.

— Она приведет нас к войне, если германские державы уже теперь решили применить силу, чтобы обеспечить себе гегемонию на востоке. Твердость не исключает примирения. Но нужно, чтобы противная сторона согласилась договариваться и мириться. Вы знаете мое личное мнение о замыслах Германии. Австрийский ультиматум, мне кажется, служит началом опасного кризиса, который я предвижу уже давно. С сегодняшнего дня мы должны признать, что война может вспыхнуть с минуты на минуту. И эта перспектива должна быть на первом плане во всяком нашем дипломатическом действии.

Бьюкенен предполагает, что его правительство захочет остаться нейтральным: он боится, поэтому, чтобы Франция и Россия не были раздавлены тройственным союзом.

Сазонов ему замечает:

— При настоящих обстоятельствах нейтралитет Англии равнялся бы самоубийству.

— Вы не знаете наших нынешних правителей,— грустно отвечает сэр Джордж.—Ах, если бы консервативная партия была у власти, я убежден, что она поняла бы, что повелевает нам с такой очевидностью национальный интерес.

Я настаиваю на решающей роли, которую Англия может сыграть, чтобы унять воинственный пыл Германии, я ссылаюсь на мнение, которое четыре дня тому назад высказывал мне император Николай: Германия никогда не осмелится напасть на об'единенные Россию, Францию и Англию иначе, как потеряв совершенно рассудок. Итак, необхо-

димо, чтобы британское правительство высказалось в пользу нашего дела, которое является делом мира. Сазонов с жаром высказывается в том же смысле.

Бьюкенен обещает нам энергично поддерживать перед сэром Эдуардом Греем политику сопротивления германским притязаниям.

В три часа Сазонов нас покидает, чтобы отправиться на Елагин остров, где премьер Горемыкин созывает Совет министров.

В восемь часов вечера я еду в министерство иностранных дел, где Сазонов ведет переговоры с моим германским коллегой. Через несколько минут я вижу, как выходит Пурталес, с красным лицом, со сверкающими глазами. Спор, должно быть, был горячим. Он уклончиво пожимает мне руку во то время, как я вхожу в кабинет министра.

Сазонов весь еще дрожит от спора, который он только что выдержал. У него нервные движения, сухой и прерывистый голос.

— Ну что же, говорю я ему, что произошло?...

— Как я предвидел, Германия вполне поддерживает дело Австрии. Ни одного слова примирения. Зато и я заявил весьма откровенно Пурталесу, что мы не оставим Сербию один на один с Австрией. Наш разговор окончился в очень резком тоне.

— Ах, в очень резком?...

— Да.... Знаете-ли вы, что он осмелился мне сказать?... Он меня упрекал, меня и всех русских, что мы не любим Австрии, что мы не совестимся тревожить последние дни ее почтенного императора. Я возражал: „Конечно, мы не любим Австрии.... и почему стали бы мы ее любить?... Она делала нам только зло. Что же касается ее почтенного императора, то если он еще носит корону на своей голове, так этим он обязан нам. Вспомните,

как он нам из'являл свою благодарность в 1855, в 1878, в 1908 годах..... Упрекать нас в нелюбви к Австрии... нет, в самом деле, это слишком"...

— Все это нехорошо, дорогой министр. Если разговор между Петербургом и Берлином должен продолжаться таким образом, он долго не затянется. В самом непродолжительном времени мы увидим, как император Вильгельм поднимется в своих сверкающих доспехах. Ради Бога, будьте сдержанны. Исчерпайте все способы примирения. Не забывайте, что мое правительство есть правительство общественного мнения и что оно сможет деятельно вас поддерживать только в том случае, если общество будет за него. Наконец, подумайте о мнении Англии.

— Я сделаю все возможное, чтобы избежать войны. Но, как и вы, я очень обеспокоен оборотом, который принимает дело.

— Могу ли я уверить мое правительство, что вы не дали еще приказания ни о каком военном мероприятии....

— Ни о каком, я утверждаю это. Мы только решили вернуть по секрету восемьдесят миллионов рублей, которые мы хранили в немецких банках.

Он прибавляет, что постарается добиться от графа Берхтольда продления срока переданного Сербии ультиматума, чтобы державы имели время составить себе мнение об юридической стороне конфликта и поискать путей примирения.

Русские министры соберутся завтра под председательством императора. Я советую Сазонову крайнюю осторожность в мнениях, которые он будет высказывать.

Нашего разговора было достаточно, чтобы дать отдых его нервам. И он отвечает очень положительно:

— Не бойтесь ничего... к тому же вы знаете благоразумие императора... Берхтольд доказал свою неправоту: мы должны заставить его взять на себя ответственность за то, что может последовать. Я считаю даже, что если венский кабинет перейдет к действиям, сербы должны будут допустить захват их территории и ограничиться указанием цивилизованному миру на низость Австрии

Суббота, 25 июля 1914 г.

Вчера германские послы в Париже и Лондоне вручили французскому и британскому правительствам ноту, в которой заявляется, что австро-сербская ссора должна быть покончена исключительно между Веной и Белградом. Нота оканчивается такими словами: „Германское правительство горячо желает, чтобы конфликт был локализован, ибо всякое вмешательство третьей державы должно, по естественной игре союзов, вызвать неисчислимые последствия". Вот начинаются и приемы запугиванья!

В три часа пополудни Сазонов принимает меня вместе с Бьюкененом. Он об'являет нам, что сегодня утром происходило чрезвычайно важное совещание в Царском Селе под председательством императора и что его величество принял, в принципе, решение мобилизовать тринадцать армейских корпусов, которые предположительно назначены действовать против Австро-Венгрии. Затем, обращаясь к Бьюкенену, он всеми силами, очень серьезно настаивает на том, чтобы Англия более не медлила перейти на сторону России и Франции, в виду кризиса, ставящего на карту не только европейское равновесие, но даже свободу Европы. Я поддерживаю настояния Сазонова и заканчиваю

аргументом ad hominem, указывая на портрет канцлера Горчакова, украшающий кабинет, в котором мы совещаемся.

—Вот здесь, в июле 1870 года, дорогой сэр Джордж, князь Горчаков заявил вашему отцу [1]), который ему указывал на опасность германских честолюбивых замыслов: рост германского могущества не представляет собою ничего, что могло бы беспокоить Россию. Пусть современная Англия не совершает той ошибки, которая так дорого стоила тогдашней России.

—Вы прекрасно знаете, что вы убеждаете того, кто уже убежден,—говорит Бьюкенен с жестом безнадежности.

С каждым часом волнение в публике возрастает. Прессе сделано сообщение: Императорское правительство внимательно следит за развитием австро-сербского конфликта, который не может оставить Россию безучастной.

Почти в то же время Пурталес дает знать Сазонову, что Германия, как союзница Австрии, поддерживает, само собою разумеется, законные требования венского кабинета против Сербии.

Со своей стороны Сазонов советует сербскому правительству без промедления просить о посредничестве британского правительства.

В семь часов вечера я отправляюсь на Варшавский вокзал, чтобы проститься с Извольским, который поспешно возвращается к своему посту. На платформах большое оживление. Поезда донельзя нагружены офицерами и солдатами. Это уже

[1]) Сэр Эндрью Бьюканен был тогда послом в С.-Пе-тербурге.

пахнет мобилизацией. Мы быстро обмениваемся нашими впечатлениями, делаем одинаковый вывод:

—На этот раз это—война.

Вернувшись в посольство, я узнаю что император отдал приказ о подготовке мобилизации в киевском, одесском, казанском и московском военных округах. Кроме того, Петербург и Москва с их губерниями об'явлены на военном положении. Наконец, лагерь в Красном Селе снят и войска с сегодняшнего вечера отосланы обратно на зимние квартиры.

В половине девятого, мой военный атташе, генерал де-Лагиш, вызван в Красное Село для переговоров с великим князем Николаем Николаевичем и военным министром, генералом Сухомлиновым.

Воскресенье, 26 июля 1914 г.

Сегодня днем, когда я отправляюсь к Сазонову, мои впечатления несколько более благоприятны.

Он только,-что принял моего австро-венгерского коллегу графа Сапари, и побудил его „к откровенному и честному об'яснению".

Затем он прочел, статью за статьей, текст ультиматума, переданного в Белград, отмечая недопустимый, нелепый и оскорбительный характер главных статей. После этого он сказал самым дружеским тоном:

— Желание, которое породило этот документ, справедливо, если у вас не было иной цели, как защитить вашу территорию от происков сербских анархистов; но форма не может быть одобрена...

Он с жаром заключил:

—Возьмите назад ваш ультиматум; измените его редакцию, и я гарантирую вам благоприятный результат.

Сапари, казалось был, тронут, даже почти убежден этими словами; тем не менее, он отстаивал точку зрения своего правительства.

Сегодня вечером Сазонов предложит Берхтольду начать непосредственные переговоры между Петербургом и Веной, чтобы условиться об изменениях, которые должны быть внесены в ультиматум.

Я поздравляю Сазонова с тем, что он так удачно вел разговор. Он отвечает мне:

—Я не откажусь от этого положения. До последнего момента я буду стремиться к соглашению. Затем, проводя рукой перед своими глазами, как если бы страшное видение возникло в его мыслях, он спрашивает меня дрожащим голосом:

—Откровенно, между нами, думаете ли вы, что можно было бы еще спасти дело мира?

—Если бы мы имели дело только с Австрией, у меня оставалось бы еще надежда... Но есть еще Германия; она обещала своей союзнице большой триумф самолюбия; она убеждена, что мы не осмелимся до конца противиться ей, что тройственное согласие уступит, как оно уступало всегда. Но этот раз, мы не можем более уступать, под опасением не существовать более. Нам не избежать войны.

—Ах, мой дорогой посол, ужасно думать о том, что готовится.

Понедельник, 27 июля 1914 г.

В оффициальных сферах день прошел спокойно: дипломатия методически продолжает свою работу.

Измученный телеграммами и визитами, удрученный тяжелыми мыслями, я отправляюсь перед обе-

дом прокатиться на острова; я схожу с экипажа в тенистой и уединенной аллее, которая проходит вдоль Елагина дворца. Прелестная погода. Мягкий свет льется сквозь густые и блестящие ветви больших дубов. Ни единое дуновение ветра не колеблет листьев, но, время от времени, в воздухе встают влажные испарения, которые кажутся свежим дыханием растений и вод.

Мои выводы полны пессимизма. Какие бы усилия я ни делал, чтобы их опровергнуть, они неизменно возвращают меня к одному заключению: война. Прошло время комбинаций и дипломатического искусства. В сравнении с отдаленными и глубокими причинами, которые вызвали нынешний кризис, происшествия последних дней ничего не значат. Нет более личной инициативы, не существует более человеческой воли, которая могла бы сопротивляться автоматическому действию выпущенных на свободу сил.

Мы, дипломаты, утратили всякое влияние на события; мы можем только пытаться их предвидеть и настаивать, чтобы наши правительства сообразовали с ними свое поведение. Судя по агентским телеграммам, кажется, что во Франции моральное состояние хорошо. Нет ни нервности, ни безумства; спокойная и сильная уверенность; полная национальная солидарность. И подумать только, что это—та же страна, которая вчера еще увлекалась скандалами процесса Кайо и гипнотизировала себя перед клоакой, раскрывавшейся в здании суда.

По всей России общественное мнение раздражено. Сазонов лавирует, и ему еще удается обуздывать прессу. Но все же он принужден давать журналистам немного пищи, чтобы успокоить их внезапный голод, и он поручил сообщить им:

„Если угодно, направляйте удары на Австрию, но будьте умеренны по отношению к Германии".

Вторник, 28 июля 1914 г.

В три часа дня я еду в министерство иностранных дел. Бьюкенен совещается с Сазоновым.

Немецкий посол ожидает своей очереди, чтобы быть принятым. Я смело подхожу к нему:

—Ну, что же? Решили ли вы, наконец, успокоить вашу союзницу... Вы одни в состоянии заставить Австрию слушать благоразумные советы.

Он тотчас же возражает мне отрывистым голосом:

—Но это здесь должны успокоиться и перестать возбуждать Сербию...

—Я убежден, клянусь честью, что русское правительство совершенно спокойно и готово ко всем примирительным решениям. Но не просите у него, чтобы оно допустило уничтожение Сербии. Это, значило бы просить у него невозможного.

Он бросает мне сухим тоном:

—Мы не можем покинуть нашу союзницу.

—Позвольте мне, не стесняясь, говорить с вами, мой дорогой коллега. Время достаточно серьезное, и я думаю, что мы достаточно друг друга уважаем, чтобы иметь право об'ясняться с полной откровенностью... Если через день, через два дня австро-сербский конфликт не будет улажен, то это— война, всеобщая война, катастрофа, какой мир, может быть, никогда не знал. А это бедствие еще может быть, отвращено, потому что русское правительство миролюбиво, потому что британское правительство миролюбиво, потому что ваше правительство называет себя миролюбивым.

При этих словах Пургалес вспыхивает:

—Да, конечно, и я призываю Бога в свидетели, Германия миролюбива. Вот уже сорок три года, как мы охраняем мир Европы. В продолжении сорока трех лет мы считаем долгом чести не злоупотреблять нашей силой. И нас сегодня обвиняют в желании возбудить войну... История докажет, что мы вполне правы и что наша совесть ни в чем не может нас упрекнуть.

—Разве мы уже в таком положении, что необходимо взывать к суду истории? Разве нет более никакой надежды на спасение?

Волнение, которое охватывает Пурталеса, таково, что он не может более говорить. Его руки дрожат, его глаза наполняются слезами. Дрожа от сдерживаемого гнева, он повторяет:

—Мы не можем покинуть, мы не покинем нашу союзницу... Нет, мы ее не покинем.

В эту минуту английский посол выходит из кабинета Сазонова. Пурталес бросается туда, с суровым видом, и даже, проходя, не подает руки Бьюкенену.

— В каком он состоянии!—говорит мне сэр Джордж.—Положение еще ухудшилось... Я не сомневаюсь более, что Россия идет à fond, She is throughly in earnest. Я умолял Сазонова не соглашаться ни на какую военную меру, которую Германия могла бы истолковать, как вызов. Надо предоставить германскому правительству всю ответственность, и всю инициативу нападения. Английское общественное мнение не допустит мысли об участии в войне иначе, как при условии, чтобы наступление исходило несомненно от Германии... Ради Бога, говорите в том же смысле с Сазоновым.

— Я иначе с ним и не говорю.

В этот момент вдруг входит австрийский посол.

Он бледен. Сдержанность, которую он высказывает по отношению к нам, противоположна той гибкой и учтивой приветливости, которая ему привычна.

Бьюкенен и я, мы пытаемся заставить его говорить.

— Получили ли вы из Вены лучшие новости? Можете ли вы немного нас успокоить?

— Неть, я не знаю ничего нового... Машина катится...

Не желая более об'ясняться, он повторяет свою апокалиптическую метафору:

— Машина катится.

Понимая, что не стоит упорствовать, я выхожу с Бьюкененом. К тому же, я предпочитаю видеть министра после того, как он примет Пурталеса и Сапари.

Через четверть часа обо мне докладывают Сазонову. Он бледен и дрожит:

— Я вынес очень плохое впечатление,—говорит он мне:—очень плохое. Теперь ясно, что Австрия отказывается вести переговоры с нами, и что Германия втайне ее подстрекает.

— Следовательно, вы ничего не могли добиться от Пурталеса?

— Ничего, кроме того, что Германия не может оставить Австрии. Но разве я требую, чтобы она ее оставила? Я просто прошу помочь мне разрешить кризис мирными способами... Впрочем, Пурталес более не владел собой; он не находил слов; он заикался; у него был испуганный вид. Откуда этот испуг?.. Ни вы, ни я—мы не таковы; мы сохраняем наше хладнокровие, наш self control.

— Пурталес сходит с ума потому, что его личная ответственность задета. Я боюсь, он способствовал тому, чтобы его правительство пустилось в эту ужасную авантюру, утверждая, будто Россия

не выдержит удара и будто, если, паче чаяния, она не уступит,—то Франция изменит русскому союзу. Теперь он видит, в какую пропасть он низверг свою страну.

— Вы уверены в этом?

— Почти... Еще вчера Пурталес уверял нидерландского посланника и бельгийского поверенного в делах, что Россия капитулирует и что это будет триумфом для тройственного союза. Я знаю это из самого лучшего источника.

Сазонов делает унылый жест и сидит молча. Я возражаю:

— Со стороны Вены и Берлина жребий брошен. Теперь вы должны усиленно думать о Лондоне. Я умоляю вас не предпринимать никакой военной меры на немецком фронте и быть также очень осторожными на австрийском, пока Германия не открыла своей игры. Малейшая неосторожность с вашей стороны будет нам стоить содействия Англии.

— Я тоже так думаю, но наш штаб теряет терпение и мне приходится с большим трудом его сдерживать.

Эти последние слова меня беспокоют; у меня является одна мысль:

— Как бы ни была серьезна опасность, как бы ни были еще слабы шансы на спасение, мы должны, вы и я, до пределов возможного пытаться спасти мир. Я прошу вас принять во внимание, что я нахожусь в беспримерном для посла положении. Глава государства и глава правительства находятся в море; я могу сноситься с ними только с перерывами и самым ненадежным способом; к тому же, так как они только очень неполно знают положение, они не могут послать мне никаких инструкций. В Париже министерство лишено главы, его сноше-

ния с президентом республики и председателем совета не менее моих нерегулярны и недостаточны. Моя ответственность, таким образом, громадна. Поэтому я прошу вас теперь же согласиться на все меры, которые Франция и Англия вам предложат для того, чтобы сохранить мир.

— Но это невозможно!.. Как вы хотите, чтобы я заранее согласился на меры, не зная ни их цели, ни условий?..

— Я уже сказал вам, что мы должны испробовать все вплоть до невозможного, чтобы отвратить войну. Я настаиваю поэтому на моей просьбе.

После короткого колебания он мне отвечает:

— Ну, что же, да, я согласен.

— Я смотрю на ваше обязательство, как на оффициальное, и телеграфирую о нем в Париж.

— Вы можете об этом телеграфировать.

— Благодарю, вы снимаете с моей совести большую тяжесть.

Среда 29 июля 1914 г.

Пролог драмы, мне кажется, приближается к последней сцене.

Вчера вечером правительство Австро-Венгрии отдало приказ об общей мобилизации армии; венский кабинет, таким образом, отказывается от прямых переговоров, которые ему предлагало русское правительство.

Сегодня днем, около трех часов, Пурталес заявил Сазонову, что если Россия не прекратит немедленно своих военных приготовлений, Германия также мобилизует свою армию. Сазонов отвечает ему, что приготовления русского штаба вызваны упорной непримиримостью венского кабинета и тем

фактом, что восемь австро-венгерских корпусов находятся уже в готовности к войне.

В одинадцать часов вечера Николай Александрович Базили, вице-директор канцелярии министерства иностранных дел, является ко мне в посольство; он приходит сообщить, что повелительный тон, в котором сегодня днем высказался германский посол, побудил русское правительство: 1-е—приказать сегодня же ночью мобилизацию тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австро-Венгрии, и 2-е—начать т а й н о общую мобилизацию.

Последние слова заставляют меня привскочить.

— Разве невозможно ограничиться, хотя бы временно, частичной мобилизацией?

— Нет! Вопрос только что основательно обсуждался в совещании наших самых высоких военачальников. Они признали, что, при нынешних обстоятельствах, русское правительство не имеет выбора между частичной и общей мобилизацией, так как частичная мобилизация не будет технически исполнимой иначе, как при условии расшатывания всего механизма общей мобилизации. Следовательно, если бы мы сегодня ограничились мобилизацией тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австрии, и если бы завтра Германия решила военной силой поддержать свою союзницу, мы оказались бы не в состоянии защитить себя со стороны Польши и Восточной Пруссии... Разве Франция не заинтересована так же, как и мы, в том, чтобы мы могли быстро выступить против Германии?..

— Вы указываете здесь на весьма важные соображения. Тем не менее, я считаю, что ваш штаб не должен принимать никаких мер раньше, чем он снесется с французским штабом. Будьте добры

сказать от меня г. Сазонову, что я обращаю самое серьезное внимание его на этот пункт и что я хотел бы получить ответ в течении ночи.

Четверг, 30 июля 1914 г.

Едва Базили вернулся в министерство иностранных дел, как Сазонов просит меня по телефону прислать ему моего первого секретаря Шамбрэнэ „для крайне неотложного сообщения". В то же время мой военный атташе, генерал де-Лагиш, вызван в генеральный штаб. Уже три четверти первого часа ночи.

Император Николай, который вечером получил личную телеграмму от императора Вильгельма, действительно решил отсрочить общую мобилизацию, так как император Вильгельм утверждает, что „он старается всеми силами способствовать непосредственному соглашению между Австрией и Россией". Царь принял это решение своею личною властью, несмотря на сопротивление своих генералов, которые лишний раз представили ему неудобство, даже опасность частичной мобилизации. Итак, я сообщаю в Париж только о мобилизации тринадцати русских корпусов, назначенных действовать против Австрии.

Сегодня утром газеты сообщают нам, что австро-венгерская армия вчера вечером начала нападение на Сербию бомбардировкой Белграда.

Новость, тотчас же распространившаяся в публике, вызывает сильное волнение. Со всех сторон мне телефонируют, чтобы спросить у меня, не знаю ли я некоторых подробностей о событии, решила ли Франция поддержать Россию, и т. д. Оживленные группы на улицах. И перед моими окнами, на набережной Невы, четыре мужика,

которые выгружают дрова, прерывают работу, чтобы послушать своего хозяина, который читает им газету. Затем они все пятеро долго разговаривают, с серьезными жестами и возмущенными лицами. Рассуждение заканчивается крестным знамением.

В два часа дня Пурталес отправляется в министерство иностранных дел. Сазонов, который немедленно его принимает, с первых же слов догадывается, что Германия не хочет произнести в Вене сдерживающего слова, которое бы спасло мир.

Повадка Пурталеса, к тому же, слишком красноречива: он потрясен, потому что замечает теперь последствия непримирой политики, орудием, если не подстрекателем которой он был; он предвидит неминуемую катастрофу и изнемогает под тяжестью ответственности:

— Ради бога,—говорит он Сазонову,—сделайте мне какое-нибудь предложение, которое бы я мог передать моему правительству. Это—моя последняя надежда.

Сазонов немедленно сочиняет следующую искусную формулу:

„Если Австрия, признавая, что австро-сербский вопрос принял обще-европейский характер, об'явит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить свои военные приготовления".

Удрученный, с мрачным взглядом, заикающийся Пурталес уходит нетвердыми шагами.

Час спустя, Сазонов едет в Петергофский дворец, чтобы сделать свой доклад императору. Он находит монарха расстроенным телеграммой, которую император Вильгельм отправил ему ночью и тон которой звучит угрозой:

„Если Россия мобилизуется против Австро-Венгрии, миссия посредника, которую я принял по твоей настоятельной просьбе, будет чрезвычайно затруднена, если не совсем невозможна. Вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны будут нести ответственность за войну или за мир".

Прочитав эту телеграмму, Сазонов делает жест отчаяния:

— Нам не избежать более войны. Германия явно уклоняется от посредничества, которого мы от нее просим, и хочет только выиграть время, чтобы закончить втайне свои приготовления. При этих условиях я не думаю, чтобы ваше величество могло более откладывать приказ об общей мобилизации.

Очень бледный и с судорогой в горле, император ему отвечает;

— Подумайте об ответственности, которую вы советуете мне принять! Подумайте о том, что дело идет о посылке тысяч и тысяч людей на смерть!

Сазонов возражает:

— Если война вспыхнет, ни совесть вашего величества, ни моя, не смогут ни в чем нас упрекнуть. Ваше величество и ваше правительство сделали все возможное, чтобы избавить мир от этого ужасного испытания... Но сегодня я убежден, что дипломатия окончила свое дело. Отныне надо думать о безопасности империи. Если ваше величество остановит наши приготовления к мобилизации, то этим удастся только расшатать нашу военную организацию и привести в замешательство наших союзников. Война, не взирая на это, все же вспыхнет в час, желательный для Германии, и застанет нас в полном расстройстве.

После минутного размышления император произносит решительным голосом:

— Сергей Дмитриевич, пойдите, телефонируйте начальнику главного штаба, что я приказываю произвести общую мобилизацию.

Сазонов спускается в вестибюль дворца, где находится телефонная будка, и передает генералу Янушкевичу приказ императора.

Часы показывают ровно четыре часа.

Броненосец „Франция", на котором находится президент Республики и председатель Совета, прибыл вчера в Дюнкирхен, уклонившись от посещения Копенгангена и Христиании. В шесть часов я получаю телеграмму, отправленную из Парижа сегодня утром и подписанную Вивиани. Подтвердив лишний раз мирные намерения французского правительства и возобновив свои советы об осторожности русскому правительству, Вивиани прибавляет: Франция решила исполнить все обязательства союзного договора.

Я отправляюсь об'явить об этом Сазонову, который чрезвычайно просто отвечает мне:

— Я был уверен во Франции.

Пятница, 31 июля 1914 г.

Приказ об общей мобилизации опубликован на рассвете. Во всем городе, как в простонародных частях города, так и в богатых и аристократических, единодушный энтузиазм.

На площади Зимнего дворца, перед Казанским собором раздаются воинственные крики ура.

Император Николай и император Вильгельм продолжают свой разговор по телеграфу. Царь телеграфировал сегодня утром кайзеру:

Мне технически невозможно остановить военные приготовления. Но, пока переговоры с Австрией не будут прерваны, мои войска воздержатся от всяких наступательных действий. Я даю тебе в этом мое честное слово.

На что император Вильгельм ответил:

Я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир.

Поэтому не я понесу ответственность за ужасные бедствия, которые угрожают теперь всему цивилизованному миру. Только от тебя теперь зависит отвратить его. Моя дружба к тебе и твоей империи, завещанная мне моим дедом, всегда для меня священна, и я был верен России, когда она находилась в беде, во время последней войны. В настоящее время ты еще можешь спасти мир Европы, если остановишь военные мероприятия.

Сазонов, по-прежнему желающий привлечь на свою сторону английское общественное мнение и готовый до последней минуты делать все возможное, чтобы отвратить войну, принимает, без возражений, некоторые изменения, которые сэр Эдуард Грей просит его внести в предложение, удивившее вчера берлинский кабинет. Вот новый текст:

Если Австрия согласится остановить продвижение своих армий на сербской территории, и, если, признавая, что австро-сербский конфликт принял характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, она допустит, чтобы великие державы обсудили удовлетво-

рение, которое Сербия могла бы предложить правительству Австро-Венгрии, не умаляя своих прав суверенного государства и своей независимости, Россия обязуется сохранить выжидательное положение.

В три часа дня германский посол испрашивает аудиенцию у императора, который просит его немедленно приехать в Петергоф.

Принятый самым приветливым образом, Пурталес ограничивается тем, что развивает мысль, изложенную в последней телеграмме кайзера: „Германия всегда была лучшим другом России... Пусть император Николай согласится отменить свои военные мероприятия, и спокойствие мира будет спасено"...

Царь отвечает, указывая на значение средств к примирению, которые предложение Сазонова, дополненное сэром Эдуардом Греем, еще предоставляет для почетного улажения конфликта. В одиннадцать часов вечера в министерстве иностранных дел докладывают о приезде Пурталеса. Принятый тотчас же, он заявляет Сазонову, что если, в течении двенадцати часов Россия не прервет своих мобилизационных мер как на германской, так и на австро-венгерской границе, вся германская армия будет мобилизована.

Затем, глядя на часы, которые показывают двадцать пять минут двенадцатого, он прибавляет:

— Срок окончится завтра в полдень.

Не давая Сазонову времени сделать какое-нибудь замечание, он говорит дрожащим, торопливым голосом:

— Согласитесь на демобилизацию!... Согласитесь на демобилизацию!... Согласитесь демобилизоваться!...

Сазонов, очень спокойный, отвечает:

— Я могу только подтвердить вам то, что вам сказал его величество император. Пока будут продолжаться переговоры с Австрией, пока останется хоть один шанс на предотвращение войны, мы не будем нападать. Но нам технически невозможно демобилизоваться, не расстраивая всей нашей военной организации. Это соображение, законность которого не может оспаривать даже ваш штаб.

Пурталес уходит с жестом отчаяния.

Суббота, 1 августа 1914 г.

Срок, назначенный германским ультиматумом, истекает сегодня в полдень; только в семь часов вечера является Пурталес в министерство иностранных дел.

Очень красный, с распухшими глазами, задыхающийся от волнения, он торжественно передает Сазонову об'явление войны, которое оканчивается следующей театральной и лживой фразой: „Его величество император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя находящимся в состоянии войны с Россией".

Сазонов ему отвечает:

— Вы проводите здесь преступную политику. Проклятие народов падет на вас.

Затем, читая громким голосом об'явление войны, он с изумлением видит там, в скобках, два варианта, имеющее, впрочем, очень мало значения. Так, после слов: Россия, отказавшись воздать должное... написано (не считая нужным ответить...) И далее, после слов: Россия, обнаружив этим отказом... стоит: (этим положением...) Вероятно, эти варианты были указаны из

Берлина и по недосмотру, или по поспешности переписчика, были, как тот, так и другой, вставлены в оффициальный текст.

Пурталес до такой степени поражен, что не успевает об'яснить эту странность формы, которая делает смешным in aeternum исторический документ, кладущий начало стольким бедствиям. Когда чтение окончено, Сазонов повторяет:

— Вы совершаете здесь преступное дело!

— Мы защищаем нашу честь!

— Ваша честь не была затронута. Вы могли одним словом предовратить войну: вы не хотите этого. Во всем, что я пытался сделать с целью спасти мир, я не встретил с вашей стороны ни малейшего содействия. Но существует божественная справедливость!...

Пурталес отвечает глухим голосом, с растерянным взглядом:

— Это правда... Существует божественное правосудие... Божественное правосудие!

Он бормочет еще несколько непонятных слов и, весь дрожа, направляется к окну, которое находится направо от входной двери, против Зимнего дворца. Там он прислоняется к подоконнику и, вдруг, разражается рыданиями.

Сазонов пытается его успокоить, слегка ударяет его по спине. Пурталес бормочет:

— Вот результат моего пребывания здесь...

Затем, внезапно, он бросается к двери, которую с трудом отворяет, так дрожат его руки, и выходит, бормоча:

— Прощайте!... Прощайте!...

Несколько минут спустя я вхожу к Сазонову, который описывает мне всю сцену. Он сообщает мне, сверх того, что Бьюкенен испросил ауденцию у императора, дабы передать ему личную теле-

грамму своего монарха. В этой телеграмме король Георг обращается с последним призывом к миролюбию царя и умоляет его продолжать примирительные попытки. Эта просьба бессцельна, с тех пор, как Пурталес передал об'явление войны. Император, тем не менее, примет Бьюкенена сегодня вечером, в одиннадцать часов.

Воскресенье, 2 августа 1914 г.

Общая мобилизация французской армии. Телеграфный приказ дошел до меня сегодня, в два часа ночи.

Итак, жребий брошен... Доля разума, который управляет народами, так слаба, что достаточно было недели, чтобы вызвать всеобщее безумие... Я не знаю, как история будет судить дипломатические действия, в которых я участвовал вместе с Сазоновым и Бьюкененом; но мы, все трое, имеем право утверждать, что мы добросовестно сделали все зависевшее от нас, с целию спасти мир всего мира, не соглашаясь, однако, принести в жертву два другие блага, еще более ценные: независимость и честь родины.

В продолжение этой решительной недели работа моего посольства была очень тяжела: ночи были не менее заняты работой, чем дни. Мои служащие были полны рвения и хладнокровия. Я нашел во всех—в моем советнике Дульсэ, в моих военных атташе генерале де-Лагиш и маиоре Верлэне, в моих секретарях Шамбрэне, Жантилле, Дюлонге и Робьеде, содействие столь же активное и разумное, сколько душевное и усердное.

Сегодня в три часа дня я отправляюсь в Зимний дворец, откуда, согласно обычаю, император должен об'явить манифест своему народу. Я—един-

ственный иностранец, допущенный к этому торжеству, как представитель союзной державы.

Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале, который идет вдоль набережной Невы, собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. По середине зала помещен престол и туда перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которой на несколько часов лишен парадный храм на Невском проспекте. В 1812 году фельдмаршал князь Кутузов, отправляясь, чтобы нагнать армию в Смоленске, долго молился перед этой иконой.

В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря. Император приглашает меня занять место около него, желая таким образом, говорит он мне, „засвидетельствовать публично уважение верной союзнице, Франции". Божественная служба начинается тотчас же, сопровождаемая мощными и патетическими песнопениями православной литургии. Николай II молится с горячим усердием, которое придает его бледному лицу поразительное выражение глубокой набожности. Императрица Александра Федоровна стоит рядом с ним, неподвижно, с высоко поднятой головой, с лиловыми губами, с остановившимся взглядом стеклообразных значков; время от времени она закрывает глаза, и ее багровое лицо напоминает мертвую маску.

После окончания молитв, дворцовый священник читает манифест царя народу,—простое изложение событий, которые сделали войну неизбежной, красноречивый призыв к национальной энергии, прошение о помощи Всевышнего, и т. д. Затем император, приблизясь к престолу, поднимает правую руку над Евангелием, которое ему подносят.

Он так серьезен и сосредоточен, как если бы собирался приобщиться Святых Тайн. Медленным голосом, подчеркивая каждое слово, он заявляет:

— Офицеры моей гвардии, присутствующие здесь, я приветствую в вашем лице всю мою армию и благословляю ее. Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле.

Громкое ура отвечает на это заявление, скопированное с клятвы, которую император Александр I произнес в 1812 году.

В течении, приблизительно, десяти минут во всем зале стоит неистовый шум, который вскоре усиливается криками толпы, собравшейся вдоль Невы.

Внезапно, с обычной стремительностью, великий князь Николай, генералиссимус русских армий, бросается ко мне и целует, почти задавив меня.

Тогда энтузиазм усиливается, раздаются крики: „Да здравствует Франция... Да здравствует Франция"...

Сквозь шум, приветствующий меня, я с трудом прокладываю себе путь позади монарха и пробираюсь к выходу.

Наконец, я достигаю площади Зимнего Дворца, где теснится бесчисленная толпа с флагами, знаменами, иконами, портретами царя.

Император появляется на балконе. Мгновенно все опускаются на колени и поют русский гимн. В эту минуту, для этих тысяч людей, которые здесь повергнуты, царь действительно есть самодержец, отмеченный Богом, военный, политический и религиозный глава своего народа, неограниченный владыка душ и тел.

В то время, как я возвращаюсь в посольство, с глазами, полными этого грандиозного видения,

я не могу не вспомнить о злополучном дне 22 января 1905 года, когда население Петербурга, преводительствуемое священником Гапоном и предшествуемое также святыми иконами, собралось, как сегодня, перед Зимним дворцом, чтобы умолять своего батюшку-царя, и когда в него стреляли.

Понедельник, 3 августа 1914 г.

Министр внутренних дел, Николай Алексеевич Маклаков, утверждает, что мобилизация на всей территории империи происходит с полной правильностью и при сильном под'еме патриотизма.

Я на этот счет не имел никаких опасений, самое большое, чего я опасался—нескольких местных инциндентов.

Один из моих осведомителей, Б., который вращается среди прогрессивных кругов, говорит мне:

— В этот момент нечего опасаться никакой забастовки, никаких бесспорядков. Национальный порыв слишком силен... Да и руководители социалистических партий на всех заводах проповедывали покорность военному долгу; к тому же они убеждены, что эта война приведет к торжеству пролетариата.

— Торжество пролетариата... даже в случае победы?...

— Да, потому что война заставит слиться все социальные классы; она приблизит крестьянина к рабочему и студенту; она лишний раз выведет на свет нечестность нашей бюрократии, что заставит правительство считаться с общественным мнением; она введет, наконец, в дворянскую офицерскую касту свободомыслящий и даже демократический элемент офицеров запаса. Этот элемент уже

сыграл большую политическую роль во время войны в Манчжурии... Без него военные мятежи 1905 года не были бы возможны.

— Сначала будем победителями... Потом мы увидим.

Председатель Думы, Михаил Владимирович Родзянко, также говорит со мной в самом успокоительном тоне... для настоящего времени:

— Война,—говорит он,—внезапно положила конец всем нашим внутренним раздорам. Во всех думских партиях помышляют только о войне с Германией.

Русский народ не испытывал подобного патриотического подъема с 1812 года.

Великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим,—временно, так как император предоставляет себе право, в более подходящий момент, принять личное командование своими войсками.

Это назначение послужило причиною очень оживленных суждений в совещании, которое его величество имел со своими министрами. Император хотел немедленно стать во главе войск. Горемыкин, Кривошеин, адмирал Григорович, и, в особенности, Сазонов с почтительной настойчивостью напомнили ему, что он не должен рисковать своим престижем и своей властью, предводительствуя в войне, которая обещает быть очень тяжелой, очень опасной, и начало которой очень неопределенно.

— Надо быть готовыми,—сказал Сазонов,—к тому, что мы будем отступать в течении первых недель. Ваше величество не должно подвергать себя критике, которую это отступление не замедлит вызвать в народе и даже в армии.

Император возразил, приведя пример своего предка, Александра I, в 1805 и в 1812 годах. Сазонов основательно возразил:

— Пусть ваше величество соблаговолит перечитать мемуары и переписку того времени. Ваше величество увидит там, как ваш августейший предок был порицаем и осуждаем за то, что принял личное командование операциями. Вы увидите там, также, все беды, которых можно было бы избежать, если бы он остался в своей столице, чтобы пользоваться своей верховной властью.

Император кончил тем, что согласился с этим мнением.

Генерал Сухомлинов, военный министр, который уже давно добивался высокого поста главнокомандующего, взбешен тем, что ему предпочли великого князя Николая Николаевича. И, к несчастью, это человек, который будет за себя мстить...

Вторник, 4 августа 1914 г

Вчера Германия об'явила войну Франции. Общая мобилизация производится быстро и без малейшего происшествия во всей России. Первоочередные части даже выиграли пять или шесть часов в сравнении с расписанием. Сазонов, безкорыстие и честность которого я часто раньше имел случай оценить, показал мне себя в это последнее время в таком виде, который возвышает его еще больше. В нынешнем кризисе он видит не только политическую проблему, которая должна быть решена, но также и, главным образом, проблему моральную, в которой замешана даже религия. Над всей его работой господствуют тайные влечения его совести и его убеждений. Несколько раз он мне говорит:

— Эта политика Австрии и Германии столь же преступна, сколь и бессмысленна: она не заключает в себе ни малейшего элемента нрав-

ственности; она оскорбляет все божественные законы.

Сегодня утром, видя его изнемогающим от усталости, с лихорадочными, подведенными глазами, я спрашиваю у него, как он может переносить такую работу при его слабом здоровьи; он мне отвечает:

— Господь поддерживает меня.

Весь день перед посольством проходили шествия, с флагами, иконами, при криках: „Да здравствует Франция... Да здравствует Франция"...

Толпа очень смешанная: рабочие, священники, мужики, студенты, курсистки, прислуга, мелкие чиновники и т. д. Энтузиазм кажется искренним. Но в этих манифестациях, столь многолюдных и появляющихся через такие правильные промежутки времени, какую часть надо приписать полиции?...

Я ставлю себе этот вопрос сегодня вечером, около десяти часов, когда мне докладывают, что народная толпа бросилась на германское посольство и разграбила его до основания.

Расположенное на самой главной площади города, между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом, германское посольство представляет собою колоссальное здание. Массивный фасад из финляндского гранита; тяжелые архитравы; циклопическая каменная кладка. Два громадных бронзовых коня на крыше, которых держат в поводьях гиганты, окончательно подавляют здание. Отвратительное, как произведение искусства, строение это очень символично; оно утверждает с грубой и шумной выразительностью желание Германии преобладать над Россией.

— Чернь наводнила особняк, била стекла, срывала обои, протыкала картины, выбросила в окно всю

мебель, в том числе мрамор и бронзу эпохи Возрождения, которые составляли прелестную частную коллекцию Пурта́леса. И, чтобы кончить, нападавшие сбросили на тротуар конную группу, которая возвышалась над фасадом. Разграбление продолжалось более часу, под снисходительными взорами полиции.

Этот акт вандализма, будет ли он иметь также символическое значение? Предвещает ли он падение германского влияния в России?

Мой австрийский коллега, Сапари, находится еще в Петербурге, не понимая, почему его правительство так мало торопится прервать сношения с русским правительством.

Петербургская французская колония служит сегодня торже́ственную мессу во французской церкви Богоматери, чтобы призвать благословение Божие на наши войска.

В пять часов утра Бьюкенен телефонировал мне, что он ночью получил телеграмму из английского министерства иностранных дел, извещающую его о вступлении Англии в войну. Поэтому я приказываю к французскому и русскому флагам, украшающим главный престол, присоединить и британский флаг.

В церкви я сажусь на мое обычное кресло, в правом проходе. Бьюкенен почти одновременно приезжает и говорит мне с глубоким чувством:

— Мой союзник... Мой дорогой союзник...

В центре, в первом ряду, стоят два кресла— одно для Белосельского, генерал-адютанта его величества, представляющего особу государя императора, другое—для генерала Крупенского, состоящего при великом князе Николае Николаевиче, представителя особы верховного главнокомандующего.

В левом проходе собрались все русские министры, и позади них—человек сто должностных лиц, офицеров и пр.

Вся церковь полна и благоговейно сосредоточена.

На лице каждого вновь входящего я читаю тоже радостное удивление. Вид Union Sacre, расстилающегося над престолом, показывают всем, что Англия—отныне наша союзница.

Эти флаги трех наций красноречиво гармонируют друг с другом.

Составленные из тех же цветов—синего, белого и красного—они выражают, поразительным и живописным образом, солидарность трех народов, вступивших в коалицию.

В конце мессы хор поет последовательно:

Domine, salvam fac Rempublicam (Господи, спаси Республику).

Domine, salvum fac Imperatorem Nicolaum (Господи, спаси императора Николаа)...

Domine, salvum fac Regem Britannicum (Господи, спаси короля Британии).

При выходе из церкви Сазонов меня извещает, что государь просит меня приехать к нему сегодня же в Петергоф.

Приехав в три часа дня в маленький загородный дворец Александрию, я был немедленно введен в кабинет его величества.

Согласно этикету, я оделся в полную парадную форму. Но церемониал приема упрощен: со мною церемониймейстер, для сопровождения от Петербурга до Петергофа, адъютант, чтобы доложить обо мне, и неизбежный скороход императорского Двора, в костюме XVIII века.

Кабинет царя, расположенный в первом этаже, освещен широкими окнами, из которых, насколько

хватает глаз, открывается вид на Финский залив. Два стола, заваленных бумагами, диван, шесть кожаных кресел, несколько гравюр с военными сюжетами—составляют всю обстановку. Император, в походной форме, принимает меня стоя.

— Я хотел, — говорит он мне, — выразить вам всю свою благодарность, все свое удивление передвашей страной. Показав себя столь верной союзницей, Франция дала миру незабвенный пример патриотизма и лойяльности. Передайте, прошу вас, правительству Республики мою самую сердечную благодарность.

Последнюю фразу он произносит проникновенным и слегка дрожащим голосом, изобличающим его волнение. Я отвечаю:

— Правительство Республики будет очень тронуто благодарностью вашего величества. Оно заслужило ее тою быстротою и решительностью, с которыми выполнило свой союзнический долг, когда убедилось, что дело мира непоправимым образом погублено. В этот день оно не колебалось ни одного мгновения. И с тех пор я мог передавать вашим министрам лишь слова поддержки, лишь уверения в солидарности.

— Я знаю, знаю... Впрочем, я всегда верил слову Франции.

Мы говорим затем о завязывающейся борьбе. Император предвидит, что она будет очень жестокой, очень долгой, очень опасной.

— Нам нужно вооружиться мужеством и терпением. Что касается меня, то я будут бороться до последней крайности. Для того, чтобы достичь победы, я пожертвую всем, вплоть до последнего рубля и солдата. Пока останется хотя один враг на русской земле или на земле Франции—до тех пор я не заключу мира.

Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне это торжественное заявление. Какая-то странная смесь в его голосе и, особенно, в его взгляде, решимости и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе, велению Промысла или Рока.

Не будучи, со своей стороны, таким фаталистом, как он, я указываю ему, со всей настойчивостью, на какую я только способен,—какой ужасной опасности должна подвергнуться Франция в первую фазу войны:

— Французской армии придется выдержать ужасающий натиск двадцати пяти германских корпусов. Потому я умоляю ваше величество предписать вашим войскам перейти в немедленное наступление, — иначе французская армия рискует быть раздавленной и тогда вся масса германцев обратится против России.

Он отвечает мне с подчеркиванием:

— Как только закончится мобилизация, я дам приказ итти вперед. Мои войска рвутся в бой. Наступление будет вестись со всею возможною силой. Вы ведь, впрочем, знаете, что великий князь Николай Николаевич обладает необычайной энергией.

Император затем распрашивает меня о разных вопросах военной техники, о наличном составе германской армии, о согласованных планах русского и английского генеральных штабов, о содействии английской армии и флота, о предполагаемой позиции, которую займут Италия и Турция и т. д.,—все о вопросах, которые, мне кажется, он изучил до тонкости.

Уже целый час длится аудиенция. Вдруг император смолкает.

Он как будто в затруднении, и смотрит на меня серьезным взглядом в несколько неловкой позе, делая руками нерешительное движение.

Потом внезапно заключает меня в об'ятия, говоря:

— Господин посол, позвольте мне в вашем лице обнять мою дорогую и славную Францию.

Из скромного коттеджа Александрии я отправляюсь в роскошный дворец Знаменки, который находится совсем близко и в котором живет великий князь Николай Николаевич.

Главнокомандующий принимает меня в просторном кабинете, где все столы покрыты разложенными картами. Он идет ко мне навстречу быстрыми и решительными шагами и, как три дня тому назад в Зимнем дворце, обнимает меня, почти раздавив мне плечи:

— Господь и Жанна д'Арк с нами!—восклицает он.—Мы победим. Разве не Провидению угодно было, чтобы война разгорелась по такому благородному поводу? Чтобы наши народы отозвались на приказ о мобилизации с таким энтузиазмом? Что обстоятельства так благоприятны для нас?

Я, как могу лучше, приспособляюсь к этому военному и мистическому красноречию, наивная форма которого не мешает мне чувствовать его бодрость; тем не менее, я остерегся бы призывать Жанну д'Арк, потому что теперь дело идет не о том, чтобы „изгнать англичан из пределов Франции", но привлечь их туда — и как можно скорее.

Без предисловий, я приступаю к вопросу, самому важному из всех:

— Через сколько дней, ваше высочество, вы перейдете в наступление?

— Я прикажу наступать, как только эта операция станет выполнимой, и я буду атаковать

основательно. Может быть, я даже не буду ждать того, чтобы было окончено сосредоточение моих войск. Как только я почувствую себя достаточно сильным, я начну нападение. Это случится вероятно 14 августа.

Затем он об'ясняет мне свой общий план движений: 1-ая группа, действующая на прусском фронте; 2-ая группа, действующая на галицийском фронте; 3-ья масса в Польше, назначенная броситься на Берлин, как только войскам на юге удастся „зацепить" и „установить" неприятеля.

В то время, как он, водя пальцем по карте, излагает мне, таким образом, свои планы, вся его фигура выражает суровую энергию. Его решительные и произносимые с ударением слова, блеск его глаз, его нервные движения, его строгий, сжатый рот, его гигантский рост олицетворяют в нем величавую и увлекательную смелость, которая была главным качеством великих русских полководцев, Суворова и Скобелева.

В Николае Николаевиче есть что-то грандиозное, что-то вспыльчивое, деспотическое, непримиримое, которое наследственно связывает его с московскими воеводами XV-го и XVI-го веков. И разве не общи у него с ними простодушное благочестие, суеверное легковерие, горячая и сильная жажда жизни. Какова бы ни была ценность этого исторического сближения, я имею право утверждать, что великий князь Николай Николаевич чрезвычайно благородный человек и что высшее командование русскими армиями не могло быть поручено ни более верным, ни более сильным рукам.

В конце разговора он говорит мне:

— Будьте добры передать генералу Жоффру самое горячее приветствие и уверение в моей полной вере в победу. Скажите ему также, что я при-

кажу рядом с моим значком главнокомандующего носить значек, который он мне подарил два года назад, когда я присутствовал на маневрах во Франции.

После этого, с силой пожимая мне руки, он проводил меня до двери:

— А теперь, воскликнул он, на милость Божью...

Четверг, 6 августа 1914 г.

Мой австро-венгерский коллега, Сапари, передает сегодня утром Сазонову об'явление войны. Декларация указывает на две причины: 1-ое, положение, занятое русским правительством в австро-сербском конфликте;—2-ое, тот факт, что, согласно сообщению берлинского кабинета, Россия сочла себя вынужденной начать неприятельские действия по отношению к Германии.

Немцы проникают в западную Польшу. Третьего дня они заняли Калиш, Ченстохов и Бендин. Это быстрое продвижение вперед показывает, насколько русский генеральный штаб был прав в 1910 г., когда он отодвинул на сотню километров к востоку свои пограничные гарнизоны и свою зону сосредоточения — мера, которая вызывала такую оживленную критику во Франции.

В полдень я еду в Царское Село, где буду завтракать у великого князя Павла Александровича и его морганатической супруги графини Гогенфельзен, с которой я поддерживаю в течении многих лет дружеские отношения.

Великий князь Павел Александрович и графиня Гогенфельзен пригласили, кроме меня, только Михаила Стаховича, члена Государственного Совета по выборам от орловского земства, одного из русских, наиболее пропитанных французскими идеями.

Я нахожусь в атмосфере искренней и теплой симпатии.

Когда я вхожу, все трое приветствуют меня криком: „Да здравствует Франция"... С прямотою и простотою, ему присущими, великий князь выражает мне свое восхищение единодушным порывом, который заставил французский народ лететь на помощь своей союзнице:

— Я знаю, что ваше правительство не колебалось ни одной минуты, чтобы поддержать нас, когда Германия принудила нас защищаться. И это прекрасно... Но что весь народ мгновенно понял свой долг союзника, что ни в одном классе общества, ни в одной политической партии, не было ни малейшей слабости, ни малейшего протеста—вот что необыкновенно, вот что величественно...

Стахович подхватывает:

— Да, величественно... Но современная Франция лишь продолжает свою историческую традицию; она всегда была страной великих дел.

Я соглашаюсь, подчеркивая:

— Это правда, французский народ, который столько раз обвиняли в скептицизме и в легкомыслии, есть, несомненно, тот народ, который чаще всего бросался в борьбу по безкорыстным мотивам, который чаще всего жертвовал собою ради идеи.

Затем я рассказываю моим хозяевам о длинном ряде событий, которые наполнили собою последние две недели. Они, со своей стороны, передают мне большое число эпизодов, которые указывают на единение всех русских в желании спасти Сербию и победить Германию.

— Никто,—говорит мне Стахович,—никто в России не согласился бы, чтобы мы позволили раздавить маленький сербский народ.

Тогда я спрашиваю у него, что думают о войне члены крайней правой в Государственном Совете и в Государственной Думе,—этой влиятельной и многочисленной партии, которая устами князя Мещерского, Щегловитова, барона Розена, Пуришкевича, Маркова всегда проповедывала соглашение с германским императором. Он уверяет меня, что эта доктрина, поддерживавшаяся главным образом рассчетами внутренней политики, радикальным образом разрушена нападением на Сербию, и заключает:

— Война, которая теперь начинается, есть дуэль на-смерть между славянством и германизмом. Нет такого русского, который бы этого не сознавал.

Когда мы встаем из-за стола, я только даю себе время выкурить папиросу и быстро возвращаюсь в Петербург.

В четыре часа я веду длинный разговор с моим итальянским коллегой, маркизом Карлотти де-Рипарбелла; я стараюсь доказать ему, что современный кризис представляет для его страны неожиданный случай осуществить ее национальные стремления:

— Какова бы ни была,—говорю я,—моя личная уверенность, я не имею самонадеянности гарантировать вам, что войска и флоты тройственного согласия будут победоносными. Но что я имею право вам утверждать, особенно после моего вчерашнего разговора с императором, это—желание, которое воодушевляет три державы, неукротимое желание раздавить Германию. Все три единодушны в решении положить конец германской тирании. Если проблема так поставлена, оцените сами, на чьей стороне шансы на успех, и выведите отсюда следствия.

Мы вместе выходим, и я отправляюсь в министерство иностранных дел, где мне нужно выяс

нить многочисленные вопросы: о блокаде, о возвращении на родину, о телеграфных сношениях, о прессе, о полиции, и т. д., не считая дипломатических вопросов.

Сазонов сообщает мне, что он пригласил румынского посланника Диаманди, чтобы просить у него немедленной помощи румынской армии против Австрии. Взамен он предлагает признать за бухарестским кабинетом право присоединить все австро-венгерские земли, населенные теперь румынской народностью, т. е. большую часть Трансильвании и южную часть Буковины; кроме того, державы тройственного согласия гарантируют Румынии неприкосновенность ее территории.

Наконец, Сазонов телеграфировал русскому посланнику в Софии просьбу добиться доброжелательного нейтралитета Болгарии взамен обещания нескольких округов, в том случае, если Сербия приобретет прямой доступ к Адриатическому морю.

Пятница, 7 августа 1914 г.

Вчера германцы вошли в Льеж; несколько фортов еще сопротивляются.

Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам безотлагательно договориться в Токио о присоединени Японии к нашей коалиции: союзные державы признали бы за японским правительством право присоединить германскую территорию в Киао-Чао, а Россия и Япония гарантировали бы друг другу неприкосновенность их азиатских владений.

Сегодня вечером я обедаю в Яхт-Клубе, на Морской. В этой среде, в высшей степени консервативной, я нахожу подтверждение того, что Стахович говорил мне вчера о настроениях крайней

правой по отношению к Германии. Те, кто еще на прошлой неделе утверждал наиболее энергично необходимость усилить православный царизм тесным союзом с прусским самовластием, признают невыносимым оскорбление, нанесенное всему славянскому миру бомбардировкой Белграда, и оказываются среди самих воинствующих.

Остальные молчат или замечают, что Германия и Австрия нанесли смертельный удар монархическому принципу в Европе.

Перед возвращением в посольство я иду в министерство иностранных дел, где Сазонов хочет со мной говорить.

— Я обеспокоен,—говорит он мне,—новостями, которые получаю из Константинополя. Я очень боюсь, чтобы Германия и Австрия не устроили там какой-нибудь проделки, по их обычаю.

— Чего же, например?

— Я боюсь, чтобы австро-венгерский флот не отправился укрываться в Мраморное море. Вы сами можете предвидеть последствия...

Суббота, 8 августа 1914 г.

Французская армия вступила вчера в Бельгию, устремившись на помощь бельгийской армии. Будет ли еще раз решаться судьба Франции между Самброй и Мезой?

Сегодня—заседание Государственного Совета и Думы. 2-го августа император об'явил о своем намерении чрезвычайным образом созвать законодательные собрания, „чтобы быть в полном единении с нашим народом". Этот созыв, который показался бы вполне естественным и необходимым в какой угодно другой стране, был истолкован здесь, как обнаружение „конституционализма". В либеральных кругах за это благодарны

особенно императору, потому что известно, что председатель совета Горемыкин, министр внутренних дел Маклаков, министр юстиции Щегловитов и обер-прокурор святейшего синода Саблер смотрят на Государственную Думу, как на самый нисший, не стоящий внимания государственный орган.

Я вместе с сэром Джорджем Бьюкененом занимаю место в первом ряду дипломатической ложи.

Взволнованная речь председателя Думы Родзянко открывает заседание. Его высокопарное и звонкое красноречие возбуждает энтузиазм собрания.

Затем, нетвердыми шагами входит на трибуну старый Горемыкин, с трудом управляя звуками слабого голоса, который моментами прерывается, как если бы он умирал. Горемыкин излагает, что „Россия не хотела войны", что императорское правительство испробовало все, чтобы сохранить мир, „цепляясь за малейшую надежду предотвратить потоки крови, которые грозили затопить Европу"; он заключает, что Россия не могла отступить перед вызовом, который ей бросили германские державы: „к тому же, если бы мы уступили, наше унижение не изменило бы хода событий". При произнесении этих последних слов его голос становится немного тверже и его угасший взгляд оживляется коротким пламенем. Кажется, что этот старик, скептический, утомленный трудами, почестями и опытом, испытывает насмешливую радость, когда при этих торжественных обстоятельствах провозглашает свой разочарованный фатализм.

Сазонов сменяет его на трибуне. Он бледен и нервен. С самого начала он облегчает свою совесть: „Когда для истории наступит день произнесения беспристрастного приговора, я убежден, что она нас оправдает"... Он энергично напоминает, что

„не русская политика подвергла опасности общий мир“ и что, если бы Германия этого захотела, она могла бы „одним словом, одним единственным повелительным словом“ остановить Австрию на ее воинствующем пути. Затем, горячим тоном, он восхваляет „великодушную Францию, рыцарскую Францию, которая вместе с нами поднялась на защиту права и справедливости“. При этой фразе все депутаты встают и, повернувшись ко мне, долго приветствуют Францию радостными кликами.

Тем не менее я замечаю, что приветствия не особенно поддерживаются на скамьях левой стороны: либеральные партии никогда не могли нам простить того, что мы продлили существование царизма нашими финансовыми субсидиями. Апплодисменты снова раздаются, когда Сазонов заявляет, что Англия также признала моральную невозможность оставаться безучастной к насилию, совершенному над Сербией. Заключение его речи правильно передает идею, которая все эти последние недели господствовала над всеми нашими мыслями и поступками: „Мы не хотим установления ига Германии и ее союзницы в Европе“. Он спускается с трибуны под гром приветствий.

После перерыва в заседании глава каждой партии заявляет о своем патриотизме, и выражает готовность ко всем жертвам, чтобы избавить Россию и славянские народы от германского главенства. Когда председатель подвергает голосованию военные кредиты, испрашиваемые правительством, социалистическая партия об‘является, что она воздерживается от голосования, не желая принимать на себя никакой ответственности за политику царизма; тем не менее она убеждает русскую демократию защищать родную землю от иностранного нападения: „Рабочие и крестьяне, соберите

все ваши силы для защиты нашей страны; затем мы ее освободим"... За исключением воздержавшихся от голосования социалистов, военные кредиты единогласно приняты.

Когда я уезжаю с Бьюкененом из Таврического Дворца, наши экипажи с трудом пролагают себе дорогу среди толпы, которая окружает и приветствует нас.

Впечатление, которое я вынес из этого заседания, удовлетворительно. Русский народ, который не хотел войны, который был даже застигнут войной врасплох, твердо решил принять ее бремя. С другой стороны, правительство и руководящие классы сознают, что судьба России отныне связана с судьбами Франции и Англии. Этот второй пункт не менее важен, чем первый.

Вчера французские войска вошли в Мюльгаузен. Великий князь Николай Николаевич, который еще не перенес своей главной квартиры на фронт, посылает мне своего начальника штаба генерала Янушкевича, с поручением сообщить мне, что мобилизация оканчивается при самых лучших условиях и что перевозка и сосредоточение войск совершаются пунктуально. Он прибавляет, что так как правительство вполне уверено в сохранении порядка в Петербурге, то войска из столицы и пригородов отправляются теперь же к границе.

Мы говорим затем о подготовляющихся военных операциях. Генерал Янушевич утверждает: 1-ое, что виленская армия начнет наступление на Кенисберг; 2-ое, что варшавская армия будет немедленно переброшена на левый берег Вислы, дабы прикрывать с фланга виленскую армию; 3-е, что общее наступление будет начато 14 августа.

В половине седьмого я уезжаю на автомобиле

в Царское Село, где обедаю у великой княгини Марии Павловны [1]).

Великая княгиня окружена своим старшим сыном и своей невесткой, великим князем Кириллом Владимировичем и великой княгиней Викторией Феодоровной, своим зятем и своей дочерью, князем Николаем Греческим и великой княгиней Еленой Владимировной, своими фрейлинами и своими приближенными.

Стол накрыт в саду в палатке, три стороны которой подняты. Воздух чист и прозрачен. Кусты роз благоухают. Солнце, которое, несмотря на поздний час, еще высоко стоит на небосклоне, разливает вокруг нас мягкий свет и прозрачные тени.

Идет общий разговор, непринужденный и оживленный; само собою разумеется, что его единственная тема—война. Но каждую минуту вновь выплывает один и тот же вопрос: распределение главных командных должностей и составление штабов; критикуют уже известные назначения; стараются угадать назначения, относительно которых император еще не сказал своего решения. Все соперничества Двора и салонов выдают себя в словах, которыми обмениваются здесь. Моментами мне кажется, что я переживаю главу из „Войны и Мира" Толстого.

Когда обед окончен, великая княгиня Мария Павловна уводит меня в глубину сада, затем усаживает рядом с собой на скамейке.

— Теперь,—говорит она мне,—будем беседовать вполне свободно.... У меня такое чувство, что император и Россия играют решительную партию. Это не политическая война, которых столько уже было; это — дуэль славянства и германизма; надо, чтобы одно из двух пало... Я эти последние дни

[1]) Вдова великого князя Владимира Александровича.

видела многих лиц, мои походные госпитали и мои санитарные поезда поставили меня в соприкосновение с людьми разной среды, разных классов. Я могу вас уверить, что никто не строит иллюзий относительно опасности начинающейся борьбы. Так, от императора до последнего мужика все решили героически исполнить свой долг; никакая жертва не заставит отступить.... Если—не дай Бог—наши первые шаги будут неудачны, вы увидите чудеса 1812 года.

— Действительно, возможно, что наши первые шаги будут очень трудны. Мы должны все предвидеть, даже несчастье. Но России нужно только продержаться.

— Она продержится. Не сомневайтесь в этом!..

Чтобы заставить великую княгиню высказаться относительно более деликатной темы, я поздравляю ее с бодрым настроением, которое она мне высказывает, так как я предполагаю, что ее душевная твердость дается ей не без жестоких внутренних терзаний. Она отвечает мне:

— Я счастлива исповедаться в этом перед вами... Я эти дни несколько раз исследовала свою совесть; я смотрела в самую глубину себя самой. Ни в сердце, ни в уме я не нашла ничего, что бы не было совершенно предано моей русской родине. И я благодарила за это Бога... Не потому ли, что первые жители Мекленбурга и их первые государи, мои предки, были славяне? Это возможно. Но скорее я предположила бы, что сорок лет моего пребывания в России,—все счастье, которое я здесь знала, все мечты, которые я здесь строила, вся любовь и доброта, которые мне здесь выказывали,—сделали мою душу совсем русской. Я чувствую себя снова мекленбургжкой только в одном пункте—в моей ненависти к императору

Вильгельму. Он олицетворяет все, что я научилась с детства особенно ненавидеть: тиранию Гогенцоллернов... Да, это они, Гогенцоллерны, так развратили, деморализовали, опозорили, унизили Германию, это они понемногу уничтожили в ней начала идеализма, великодушия, кротости и милосердия...

Она изливает свой гнев в длинной речи, которая обличает застарелую злобу, глухое и упорное отвращение, которые маленькие германские государства, в былое время независимые, питают к деспотической Пруссии. Около десяти часов я прощаюсь с великой княгиней, так как в посольстве меня ждет тяжелая работа.

Ночь светлая и теплая; бледная луна кидает тут и там на громадную и однообразную равнину, серебряные ленты... На западе, по направлению к Финскому заливу, горизонт покрывается туманом медного цвета.

Когда я возвращаюсь в половине двенадцатого, мне приносят связку телеграмм, полученных вечером.

Только около двух часов ночи я ложусь в постель.

Понедельник, 10 августа 1914 г.

Сазонов торопит итальянское правительство присоединиться к нашему союзу. Он предлагает ему соглашение на следующих условиях: 1-ое, итальянская армия и флот немедлено нападут на армию и флот Австро-Венгрии; 2-ое, после войны область Триента, а также гавани Триеста и Валлоны, будут присоединены к Италии.

Со стороны Софии впечатления отнюдь не успокоительны. Царь Фердинанд способен на все

мерзости и любое вероломство, когда затронуты его тщеславие и его злоба. Я знаю три страны, по отношению к которым он питает непримиримое желание мести: Сербия, Румыния и Россия. Я говорю об этом с Сазоновым; он прерывает меня:

— Как?... Царь Фердинанд сердится на Россию... Почему же?

— Прежде всего, он обвиняет русское правительство в том, что оно стало на сторону Сербии и даже Румынии в 1913 году. Затем, есть старые обиды, и они бесчисленны....

— Но какие обиды?.. Мы всегда высказывали ему благосклонность. И когда он приезжал сюда в 1910 году, император обходился с ним с таким почтением, с таким вниманием, как если бы он был монархом большого государства. Что же мы могли еще сделать?

— Это путешествие 1910 года есть именно одна из обид, наиболее для него мучительная.... На следующий день после его возвращения в Софию, он пригласил меня во дворец и сказал мне: „Дорогой посланник, я просил вас притти ко мне, потому что мне необходимы ваши познания, чтобы разобраться во впечатлениях, привезенных из Петербурга. Мне не удалось, по правде говоря, понять, кого там больше ненавидят: мой народ, мое дело или меня самого".

— Но это безумно....

— Это выражение не слишком сильно.... Несомненно, у этого человека есть признаки нервного вырождения и отсутствия психического равновесия: способность поддаваться внушению, навязчивые идеи, меланхолия, мания преследования. От этого он только более опасен, потому что он подчиняет своему честолюбию и злобе необыкновенную ловкость, редкое коварство и хитрость.

— Я не знаю, что бы осталось от его ловкости, если бы у нее отняли коварство. Как бы то ни было, мы не можем быть слишком внимательными к действиям Фердинанда. Я счел нужным его предупредить, что если он будет интриговать с Австрией против Сербии, Россия окончательно лишит болгарский народ своей дружбы. Наш посланник в Софии, Савинский, очень умный человек; он исполнит поручение с надлежащим тактом.

— Этого недостаточно. Есть другие аргументы, к которым клика болгарских политиков очень чувствительна; нам следует прибегнуть к ним без промедления.

— Это также и мое мнение. Мы еще об этом поговорим.

Война, повидимому, возбудила во всем русском народе удивительный порыв патриотизма.

Сведения, как оффициальные, так и частные, которые доходят до меня со всей России, одинаковы. В Москве, Ярославле, Казани, Симбирске, Туле, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове, Самаре, Тифлисе, Оренбурге, Томске, Иркутске—везде одни и те же народные восклицания, одинаковое сильное и благоговейное усердие, одно и то же об'единение вокруг царя, одинаковая вера в победу, одинаковое возбуждение национального сознания. Никакого противоречия, никакого разномыслия. Тяжелые дни 1905 года кажутся вычеркнутыми из памяти. Собирательная душа Святой Руси не выражалась с такой силой с 1812 года.

Вторник, 11 августа 1914 г.

Французские войска, которые с таким прекрасным порывом заняли Мюльгаузен, принуждены уйти оттуда.

Вражда к немцам продолжает высказываться по всей России с силой и настойчивостью. Первенство, которое Германия завоевала во всех экономических областях русской жизни и которое чаще всего равнялось монополии, слишком оправдывает эту грубую реакцию национального чувства. Трудно точным образом определить число немецких подданных, живущих в России; но отнюдь не было бы преувеличенным определить его в 170.000 рядом с 120.000 австро-венгерцев, 10.000 французов и 8.000 англичан. Список ввозимых таваров не менее красноречив. В течении последнего года товары, привезенные из Германии, стоили в общем 643 миллиона рублей в то время, как английские товары стоили 170 миллионов, французские товары—56 миллион в, а австро-венгерские—35 миллионов. Среди элементов германского влияния в России надо учесть еще целое население немецких колонистов, говорящих на немецком языке, хранящих немецкие традиции, которые насчитывают не менее 2-х миллионов человек, живущих в балтийских провинциях, на Украине и в нижнем течении Волги.

Среда, 12 августа 1914 года.

В то, время, как военные силы мобилизуются, все общественные организации применяются к войне. Как всегда, сигнал дан Москвой, которая является настоящим центром народной жизни и в которой дух инициативы более возбужден, более изощрен, чем где бы то ни было в другом месте. Там собирется с'езд всех земств и всех русских городов, чтобы согласовать многочисленные усилия общественной деятельности в виду войны: помощь раненым, пособия неимущим классам, изготовление с'естных припасов, лекарств, одежды и т. д.

Основная мысль—притти на помощь правительству в исполнении этих сложных заданий, которые бюрократия, слишком ленивая, слишком продажная, слишком чуждая нуждам народа, неспособна выполнить одна. Только бы не смогли чиновники препятствовать, по недоверию и по старой привычке, этому прекрасному побуждению к добровольной организации.

Сегодня вечером я обедаю с г-жой П. и с графиней Р., мужья которых уехали в армию и которые сами готовятся нагнать в качестве сестер Красного Креста походный госпиталь на передовой линии галицийского фронта. На основании многочисленных писем, которые они получили из провинции и из деревни, они утверждают, что мобилизация совершилась везде в животворной атмосфере нициональной веры и героизма.

Мы говорим об ужасных испытаниях, на которые новые приемы войны обрекают сражающихся; никогда еще подобное напряжение не требовалось от человеческих нервов. Г-жа П. говорит мне:

—В этом отношении я отвечаю вам за русского солдата. Он не имеет себе равных, что касается невозмутимости перед смертью.

Графиня Р., у которой всегда такой живой ум, такая быстрая речь, становится вдруг молчаливой. Склонившись к краю своего кресла, охватив руками колени, нахмурив брови, она кажется внутренне погруженной в тяжелые думы.

Г-жа П. спрашивает ее:

— О чем ты задумалась, Дарья? У тебя вид сивиллы у треножника. Или ты будешь пророчествовать?

—Нет, я не думаю о будущем; я думаю о прошедшем и, вернее, о том, что могло бы быть. Скажите ваше мнение, господин посол... Вчера я

была с визитом у г-жи Танеевой, вы знаете—это мать Анны Вырубовой. Там было пять или шесть человек, весь цвет распутинцев. Там спорили очень серьезно, с очень разгоряченными лицами... настоящий синод... Мое появление вызвало некоторую холодность, потому что я не принадлежу к этой стае, о, нет! Совсем нет!.. После несколько стесненного молчания Анна Вырубова возобновила разговор. Решительным тоном и как бы давая мне урок, она утверждала, что конечно, война бы не вспыхнула, если-б Распутин находился в Петербурге вместо того, чтобы лежать больным в Покровском, когда наши отношения с Германией начали портиться. Она несколько раз повторила: „Если бы старец был здесь, у нас не было бы войны; не знаю, что бы он сделал, что бы он посоветовал; но Господь вдохновил бы его, в то время, как министры не с'умели ничего предвидеть, ничему помешать. Ах!.. это большое несчастье, что его не было вблизи от нас, чтобы научить императора". Я ответила только пожатием плеч. Но я очень бы хотела знать ваше мнение, господин посол: думаете ли вы, что война была неизбежна и что никакие личные влияния не могли ее отвратить?

Я отвечаю:

—В пределах, в которых проблема была поставлена, война была неизбежна. В Петербурге, так же как и в Париже, и в Лондоне, сделали все возможное, чтобы спасти мир. Невозможно было итти дальше по пути уступок; оставалось только унизиться перед германскими государствами и капитулировать. Может быть, Распутин и посоветовал бы это императору.

—Будьте в этом уверены!—бросает мне г-жа П. с негодующим взглядом.

Четверг, 13 августа 1914 г.

Великий князь Николай Николаевич известил меня, что армии Вильны и Варшавы начнут наступление завтра утром, на рассвете; войска, назначенные действовать против Австрии, также последуют вскоре их примеру. Великий князь покидает Петербург сегодня вечером. Он увозит с собой моего первого военного атташе, генерала Лагиша, и английского военного атташе, генерала Виллиамса. Главная квартира находится в Барановичах, между Минском и Брест-Литовском. Я сохраняю около себя моего второго военного атташе, майора Верлэна, и моего морского атташе, капитана 2-го ранга Голланда. Румынское правительство отклонило предложение русского правительства, ссылаясь на отношения старой близкой дружбы, которые связывают короля Карла и императора Франца-Иосифа; тем не менее оно принимает к сведению эти предложения, дружественный характер которых оно готово оценить; оно заключает, что в нынешней стадии конфликта, разделяющего Европу, оно должно ограничиться стараниями о сохранении равновесия на Балканах.

Предостережение, которое Сазонов неделю тому назад просил передать нашему флоту, было тщетно. Двум большим немецким крейсерам Гебену и Бреслау удалось укрыться в Мраморном море. В том, что турецкое правительство к этому причастно, никто не сомневается.

В Адмиралтействе царит большое волнение; опасаются материальных убытков и еще более морального впечатления от нападения, направленного на русские берега Черного моря.

Сазонов смотрит еще дальше:

—Этим неожиданным шагом,—говорит он мне,—немцы удесятерили свой престиж в Константинополе. Если мы не будем на это немедленно реагировать, Турция для нас потеряна... И она даже выступит против нас... В таком случае мы будем вынуждены рассеять наши силы по побережью Черного моря, на границах Армении и Персии.

—По вашему, что следовало бы сделать?

—Мое мнение еще не установлено...

На первый взгляд мне кажется, что нам бы следовало предложить Турции, в награду за ее нейтралитет, торжественную гарантию ее территориальной неприкосновенности; мы могли бы прибавить к этому обещание больших финансовых выгод в ущерб Германии.

Я побуждаю его искать на этом пути решения, которое должно быть неотложно спешным.

—Теперь,—говорит Сазонов,—я поверяю вам тайну, большую тайну. Император решил восстановить Польшу и даровать ей широкую автономию... Его намерения будут возвещены полякам в манифесте, который в скором времени будет обнародован великим князем Николаем и который его величество приказал мне приготовить.

—Браво!.. Это—великолепный жест, который не только среди поляков, но и во Франции, в Англии, во всем мире произведет большое впечатление... Когда будет опубликован манифест?

—Через три или четыре дня... Я представил мой проект императору, который в целом его одобрил; я посылаю его сегодня вечером великому князю Николаю, который, может быть, потребует от меня некоторых изменений в деталях.

—Но почему император поручает обнародование манифеста великому князю? Почему он не обнародует его сам, как непосредственный акт его монаршей

воли? Моральное впечатление от этого было бы гораздо более сильным.

—Это было также моей первой мыслью. Но Горемыкин и Маклаков, которые враждебно относятся к восстановлению Польши, не без основания заметили, что поляки Галиции и Познани находятся еще под австрийским и прусским владычеством; что завоевание этих двух областей есть только еще предвидение, надежда; что поэтому император не может лично, достойным образом, обратиться к своим будущим подданным; что, напротив, великий князь Николай не превысил бы своей роли русского главнокомандующего, обратившись к славянскому народонаселению, которое он идет освобождать... Император присоединился к этому мнению...

Затем мы философствуем об увеличении сил, которое Россия приобретет от соединения двух славянских народов под скипетром Романовых. Расширение германизма на восток будет, таким образом, решительно остановлено; все проблемы восточной Европы примут, к выгоде славянства, новый вид; наконец, и главным образом, более широкий, более сочувственный, более либеральный дух проникнет в отношения царизма к инородным группам империи.

Пятница, 14 августа 1914 г.

На основании, не знаю, каких, слухов, дошедших из Константинополя, в Париже и Лондоне воображают, что Россия обдумывает нападение на Турцию и что она бережет часть своих сил для этого подготовляющегося нападения. Сазонов, который одновременно был об этом уведомлен Извольским и Бекендорфом, с горечью выражает мне свою печаль по поводу того, что он навлек на себя со стороны своих союзников такое несправедливое подозрение.

—Как могут нам приписывать подобную мысль?.. Это не только ошибочно, это нелепо... Великий князь Николай вам говорил, лично вам, что все наши силы, без исключения, сосредоточены на западной границе империи, с единственной целью: сокрушить Германию... И не позже, как сегодня утром, когда я делал мой доклад императору, его величество заявил мне в этих самых выражениях: Я предписал великому князю Николаю Николаевичу очистить себе как можно скорее и во что бы то ни стало дорогу на Берлин. Мы должны добиваться раньше всего уничтожения германской армии. Чего же еще хотят?

Я успокаиваю его, как могу лучше:

—Послушайте, не принимайте вещи слишком трагически... Нет ничего удивительного в том, что Германия пытается внушить туркам, будто вы готовитесь напасть на них. Отсюда, некоторое волнение в Константинополе. Послы Франции и Англии дали отчет об этом своим правительствам. И это все... Превосходные раз'яснения, которые вы мне делаете, будут более оценены.

Суббота, 15 августа 1914 г.

Энергичное сопротивление бельгийцев в Гасельте. Поспеет ли французская армия во-время к ним на помощь?

Великий князь извещает меня из Барановичей, что сосредоточение его войск продолжается с замечательной быстротой сравнительно с предусмотренным промедлением; следовательно, он сможет ускорить свои наступательные действия.

Русский авангард проник вчера в Галицию, в Сокаль на Буге, и отбросил неприятеля в напра-

влении на Львов. Я имею сегодня днем длинное совещание с генералом Сухомлиновым, военным министром, чтобы скорее разрешить большое число военных вопросов: транспорта, военных запасов, снабжения провиантом и т. д. После этого мы говорим об операциях, которые начинаются. Вот общий план:

1-ое. Северо-западные армии.—Три армии, заключающие 12 корпусов, начали наступление. Две из этих армий действуют к северу от Вислы; третья действует на юге и уже отошла от Варшавы. Четвертая армия, содержащая три корпуса, движется на Позен и Бреславль, обеспечивая связь этих трех армий с силами, действующими против Австрии.

2-ое. Юго-западные армии.—3 армии, составленные из 12 корпусов, имеют поручением завоевание Галиции.

Сомнительный человек, этот генерал Сухомлинов... Шестьдесят шесть лет от роду; под башмаком у довольно красивой жены, которая на тридцать два года моложе его; умный, ловкий, хитрый; рабски почтительный перед императором; друг Распутина; окруженный негодяями, которые служат ему посредниками для его интриг и уловок; утративший привычку к работе и сберегающий все свои силы для супружеских утех; имеющий угрюмый вид, все время подстерегающий взгляд под тяжелыми, собранными в складки веками; я знаю мало людей, которые бы с первого взгляда внушали бы большее недоверие.

Через три дня Император уедет в Москву, что бы там из Кремля обратиться к народу с торжественным воззванием. Он пригласил нас, Бьюкенена и меня, сопутствовать ему...

Воскресенье, 16 августа 1914 г.

Манифест великого князя Николая Николаевича польскому народу обнародован сегодня утром. Газеты единодушно радуются по этому поводу; большая часть их печатает даже восторженные статьи, торжествуя по поводу примирения поляков и русских в лоне великой славянской семьи.

Документ этот, прекрасно составленный, был написан, по указаниям Сазонова, вице-директором министерства иностранных дел князем Григорием Трубецким. Перевод на польский язык был сделан графом Сигизмундом Велепольским, председателем польской группы в Государственном Совете.

Третьего дня Сазонов просил Велепольского посетить его, не указывая на причину приглашения. В нескольких словах он сообщил ему обо всем, затем прочел ему манифест. Велепольский слушал его со стиснутыми руками, с затаенным дыханием. После волнующих заключительных слов: „Пусть в этой утренней заре загорится знамение Креста, символа страданий и воскресения народов“,—он разражается слезами и шепчет:

— Боже мой, Боже мой, слава тебе...

Когда Сазонов рассказывает мне эти подробности, я привожу ему слова, которые Гратри произнес в 1863 году: „Со времени раздела Польши Европа находится в состоянии смертного греха“.

— В таком случае,—отвечает он,—я хорошо работал для душевного спасения Европы.

От Польши мы переходим к Турции. Сазонов предлагает французскому и британскому правительствам присоединиться к нему, дабы заявить оттоманскому правительству: 1-е—если Турция сохранит

строгий нейтралитет, Россия, Франция и Англия гарантируют ей неприкосновенность ее территории. 2-е—при том же условии три союзные державы обязуются, в случае победы, включить в мирный договор статью, которая бы освобождала Турцию от притеснительной опеки, которую Германия на нее наложила в отношении экономическом и финансовом; эта статья устанавливала бы, например, отмену договоров, относящихся к Багдадской железной дороге и другим германским предприятиям.

Я поздравляю Сазонова с этим двойным предложением, которое представляется мне самой мудростью; особенно я настаиваю на первом пункте:

— Итак, даже в случае нашей победы, Россия не выражает никакого притязания территориального или политического порядка по отношению к Турции... Вы понимаете значение, которое я придаю моему вопросу: вы ведь знаете, что полная самостоятельность Турции есть один из руководящих принципов французской дипломатии.

Сазонов мне отвечает:

— Даже если мы победим, мы будем уважать независимость и неприкосновенность Турции, только бы она осталась нейтральной. Мы потребуем самое большое, чтобы был установлен новый режим для проливов, режим, который бы одинаково применялся для всех прибрежных государств Черного моря, для России, Турции, Болгарии и Румынии.

Понедельник, 17 августа 1914 г.

Французские войска успешно продвигаются на Верхних Вогезах и в Эльзасе.

Русские войска переходят в энергичное наступление на границах Восточной Пруссии, на линии от Ковно к Кенигсбергу.

Манифест к полякам наполняет все разговоры. Общее впечатление остается превосходным. Более или менее строгая критика исходит только из крайних правых кругов, где согласие с прусской реакционностью всегда рассматривалось, как жизненное условие для царизма, а подавление польской национальности есть главная основа этого согласия.

В восемь часов вечера я уезжаю в Москву с сэром Джоржем и лэди Бьюкенен.

III.

Император в Москве.

Вторник, 18 августа 1914 г.

Приехав сегодня утром в Москву, я отправляюсь в половине одиннадцатого с Бьюкененом в большой дворец, в Кремль. Нас вводят в Георгиевский зал, где уже собрались высшие сановники империи, министры, делегации от дворян, от купечества, от торговцев, от благотворительных обществ, и т. д... целая толпа, густая и сосредоточенная. Ровно в одиннадцать часов входят император, императрица и императорская фамилия. Так как все великие князья уехали в армию, то, кроме монарха, входят только четыре дочери государя, цесаревич Алексей, который вчера ушиб себе ногу, почему его несет на руках казак, наконец, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, настоятельница Марфо-Мариинской общины.

По середине залы кортеж останавливается. Звонким, твердым голосом император обращается к дворянству и народу Москвы. Он заявляет, что, по обычаю своих предков, он пришел искать в Москве поддержки своим нравственным силам в молитве перед святынями кремля; он свидетельствует, что прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и национальностей; он заключает:

— Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым войскам и моим доблестным союзником мое горячее приветствие. С нами Бог...

Ему отвечают долгие крики ура. В то время, как кортеж снова начинает двигаться, обер-церемониймейстер приглашает нас, Бьюкенена и меня, следовать за императорской семьей, непосредственно позади великих княжен.

По зале св. Владимира и по священным сеням мы доходим до Красной лестницы, нижняя площадка которой продолжается мостками, затянутыми красным, до Успенского собора. В момент появления императора поднимается буря радостных криков по всему Кремлю, в котором на площадях теснится громадная толпа, с обнаженными головами. В то же время раздается звон колоколов Ивана Великого. Громовый звук громадного колокола, царит над этим шумом. И вокруг—святая Москва, со своими тысячами церквей, дворцов, монастырей, с своими лазуревыми куполами, своими медными шпицами колоколен, со своими золотыми главами, сверкает на солнце; как фантастический мираж.

Буря народного энтузиазма почти заглушает звон колоколов.

Граф Бенкендорф—обер-гофмаршал двора, подойдя ко мне, говорит мне:

— Вот та революция, которую нам предсказывали в Берлине.

Он, вероятно, выражает общую мысль. У императора радостный вид. Лицо императрицы выражает исступленную радость. Бьюкенен шепчет мне на ухо:

— Мы теперь переживаем величественный момент... Подумайте о всем историческом будущем, которое подготовляется в эту минуту именно здесь.

— Да, я думаю также о всем историческом прошлом, которое здесь же совершалось... С того места, где мы находимся, Наполеон глядел на Москву, охваченную пламенем. И по этой дороге Великая армия начала свое бессмертное отступление.

Между тем, мы доходим до преддверия собора. Московский митрополит, окруженный духовенством, подносит их величествам крест царя Михаила Федоровича, первого из Романовых, и освященную воду.

Мы входим в Успенский собор. Четырехугольное здание, над которым возвышается громадный купол, поддерживаемый четырьмя массивными столбами, совершенно покрыто фресками на золотом фоне. Иконостас, высокая стена из позолоченного серебра, весь покрыт драгоценными каменьями. Слабый свет, падающий из купола, и мерцание свечей поддерживают в храме золотистый и рыжеватый полусвет.

Государь и государыня становятся перед амвоном, с правой стороны, у подножья столба, к которому прислонен престол патриархов. У левого амвона придворные певчие, в костюмах XVI века, серебряных и бледно-голубых, поют замечательные песнопения православной литургии, может быть, самые прекрасные во всей церковной музыке.

В глубине храма, против иконостаса, стоят три русских митрополита и двенадцать архиепископов. Слева от них собрано сто десять архиереев, архимандритов и игуменов. Баснословное богатство, неслыханное изобилие алмазов, сапфиров, рубинов, аметистов сияют на парче митр и облачений. Время от времени храм загорается необыкновенным блеском.

Бьюкенен и я, мы оба стоим слева от государя, впереди двора.

В конце длинной службы митрополит подносит их величествам Распятие, содержащее частицу подлинного креста Господня, которое они благоговейно целуют. Затем, сквозь облака ладона, императорская семья проходит через собор, чтобы преклонить колени перед православными святынями и гробницами патриархов.

Во время этого обхода я любуюсь походкой, позами, коленопреклонением великой княгини Елизаветы Федоровны. Несмотря на то, что ей около пятидесяти лет, она сохранила всю свою былую грацию и гибкость. Под своим развевающимся покрывалом из белой шерстяной ткани она так же элегантна и прелестна, как прежде, до своего вдовства, в те времена, когда она внушала мирские страсти... Чтобы приложиться к иконе Владимирской Божьей матери, которая окружена иконостасом, она должна была поставить колено на мраморную скамью, довольно высокую. Императрица и молодые великие княжны, которые ей предшествовали, принимались за это дважды и не без некоторой неловкости поднимались до знаменитой иконы. Она сделала это одним гибким, ловким, величественным движением.

Служба окончена. Кортеж перестраивается; во главе проходит духовенство. Последнее песнопение великолепным взлетом наполняет храм. Двери открываются.

Вся декорация Москвы внезапно развертывается при ослепительном солнце. В то время, как процессия развертывается, я думаю, что только византийский двор, в эпоху Константина Багрянородного, Никифора Фоки и Андроника Палеолога знал зрелища, исполненные такого пышного, такого величественного великолепия.

В конце мостков, затянутых красным, ожидают дворцовые экипажи. Прежде чем сесть в них, импе-

раторская фамилия остается некоторое время стоять посреди неистовых радостных криков толпы. Император говорит нам, Бьюкенену и мне:

— Подойдите ко мне, господа. Эти приветствия относятся к вам так же, как и ко мне.

Под шум исступленных криков мы трое говорим о начавшейся войне.

Император поздравляет меня с удивительным рвением, которое воодушевляет французские войска, и повторяет утверждения о своей полной уверенности в окончательной победе. Государыня ищет любезных слов, чтобы сказать их мне. Я прихожу ей на помощь:

— Какое утешительное зрелище для вашего величества. Как прекрасно смотреть на народ в его патриотическом исступлении, в его усердии перед монархами.

Она едва отвечает, но ее судорожная улыбка и странный блеск ее взгляда, пристального, магнетического, блистающего, обнаруживает ее внутренний восторг. Великая княгиня Елизавета Федоровна присоединяется к нашему разговору. Ее лицо, обрамленное длинным покрывалом из белой шерстяной материи, поражает своей одухотворенностью. Тонкость черт, бледность кожи, глубокая и далекая жизнь глаз, слабый звук голоса, отблеск какого-то сияния на ее лбу, все обнаруживает в ней существо, которое имеет постоянную связь с неизреченным и божественным.

В то время, как их величества возвращаются в большой дворец, мы выходим, Бьюкенен и я, из Кремля, среди оваций, которые сопровождают нас до отеля.

В десять часов вечера я уезжаю в Петербург.

Среда, 19 августа 1914 г.

Сегодня утром я вернулся в Петербург. Французские войска продвигаются в долинах Вогезов, в сторону Эльзаса. Форты Льежа еще оказывают сопротивление, но немецкая армия, не задерживаясь перед ними, движется прямо на Брюссель.

Русские войска поспешно сосредоточиваются на границе Восточной Пруссии.

Четверг, 20 августа 1914 г.

Сазонов приезжает завтракать со мной. Мы беседуем о тех результатах, которых должно стараться достичь в час мира и которых мы добьемся только силою оружия. Действительно, нельзя сомневаться, что Германия не преклонится ни перед одним из наших требований, пока у нее не будут отняты средства к защите. Нынешняя война не из тех, которые оканчиваются политическим договором, как после сражения при Сольферино или при Садовой; это—война на смерть, в которой каждая группа воюющих рискует своим национальным существованием.

— Моя формула проста,—говорит Сазонов.—мы должны уничтожить германский империализм. Мы достигнем этого только рядом военных побед; перед нами длинная и очень тяжелая война. Император не имеет никаких иллюзий в этом отношении... Но чтобы „кайзерство“ не восстановилось снова из своих развалин, чтобы Гогенцоллерны никогда больше не могли претендовать на всемирную монархию, должны произойти большие политические перемены. Не считая возвращения Эльзас-Лотарингии Франции, — необходимо будет восстановить Польшу, увеличить Бельгию, восста-

новить Ганновер, отдать Шлезвиг Дании, освободить Богемию, разделить между Францией, Англией и Бельгией все немецкие колонии и т. д...

— Это—гигантская программа. Но я думаю, как и вы, что мы должны будем простирать так далеко наши усилия, если мы хотим, чтобы наше дело было прочно.

Затем мы взвешиваем взаимные силы воюющих, их людские резервы, их рессурсы, финансовые, промышленные, земледельческие и т. д., мы обсуждаем благоприятные шансы, которые нам предоставляют внутренние разногласия Австрии и Венгрии, что заставляет меня сказать:

— Есть еще фактор, которым мы не должны пренебрегать: мнение народных масс в Германии. Очень важно, чтобы мы были хорошо осведомлены о том, что там происходит. Вы должны были бы организовать осведомительную службу во всех больших очагах социализма, которые ближе всего к вашей территории, в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Хемнице, Бреславле...

— Это очень трудно организовать.

— Да, но это необходимо. Подумайте, что на следующий день после военного поражения, немецкие социалисты, без сомнения, принудят касту дворянства заключить мир. И если мы можем этому помочь..

Сазонов вздрагивает. Отрывисто, сухим голосом он заявляет мне:

— О, нет, нет... Революция никогда не будет нашим орудием.

— Будьте уверены, что она есть орудие наших врагов против нас... И Германия не ждет возможного поражения ваших войск, она не ждала войны, чтобы создать себе соумышленников среди ваших рабочих. Вы не можете оспаривать, что забастовки,

которые вспыхнули в Петербурге во время визита президента Республики, были вызваны германскими агентами.

— Я это слишком хорошо знаю. Но, повторяю вам, революция никогда не будет нашим оружием, даже против Германии.

Наш разговор останавливается на этом. Сазонов более не в настроении изливаться. Появление революционного призрака внезапно заставило его застыть.

Чтобы дать ему отдохнуть, я увожу его в моем экипаже на Крестовский остров. Там мы гуляем пешком под прекрасной тенью деревьев, которая простирается до сверкающего устья Невы. Мы разговариваем об императоре; я говорю Сазонову:

— Какое прекрасное впечатление я вынес о нем на этих днях, в Москве. Он дышал решимостью, уверенностью и силой.

— У меня было такое же впечатление, и я извлек из него хорошее предзнаменование... но предзнаменование необходимое, потому что...

Он внезапно останавливается, как если бы он не решался окончить свою мысль: я убеждаю его продолжить. Тогда, беря меня за руку, он говорит мне тоном сердечного доверия:

— Не забывайте, что основная черта характера государя есть мистическая покорность судьбе.

Затем он передает мне рассказ, который он слышал от своего beau-frèr'a Столыпина, бывшего премьер-министра, убитого 18 сентября 1911 года.

Это было в 1909 году, когда Россия начинала забывать кошмар японской войны и последовавших за ней мятежей. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение

скептическое, беззаботное, движение, которое как бы говорит: „Это или что-нибудь другое,—не все-ли равно“... Наконец, он заявляет грустным голосом:

„Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю, Петр Аркадьевич. Мне не везет... К тому же, человеческая воля так бессильна“...

Мужественный и решительный по натуре, Столыпин энергично протестует. Тогда царь у него спрашивает:

— Читали вы Жития Святых?

— Да..., по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около 20 томов.

— Знаете ли вы также, когда день моего рождения?

— Разве я мог бы его не знать? 6-го мая.

— А какого святого, праздник в этот день?

— Простите, государь, не помню.

— Иова Многострадального.

— Слава Богу, царствование вашего величества завершится со славой; так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.

— Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более, чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь, на земле... Сколько раз применял я к себе слова Иова: — и б о у ж а с н о е, ч е г о я у ж а с а л с я, т о и п о с т и г л о м е н я, и ч е г о я б о я л с я, т о и п р и ш л о к о м н е [1]).

---

[1]) Книга Иова, II, 2, 5.

IV.

Поход немцев на Париж. Сражение при Сольдау.

Пятница, 21 августа 1914 г.

На бельгийском и французском фронтах наши действия принимают плохой оборот. Я получаю приказание выступить посредником перед императорским правительством, с целью ускорить, насколько возможно, наступление русских войск. Я тотчас же отправляюсь к военному министру и энергично излагаю ему просьбу французского правительства. Он призывает офицера и немедленно диктует ему, под мою собственную диктовку, телеграмму великому князю Николаю Николаевичу.

Затем, я спрашиваю генерала Сухомлинова по поводу военных операций, происходящих на русском фронте. Я записываю его сообщения в таких словах:

1-ое. Великий князь Николай Николаевич решил с возможной быстротой продвигаться вперед к Берлину и Вене, главным образом, на Берлин, проходя между крепостями Торном, Позеном и Бреславлем.

2-ое. Русские армии перешли в наступление по всей линии.

3-е. Войска, нападающие на Восточную Пруссию, продвинулись вперед на неприятельской территории

от 20 до 45 километров; их линия определяется приблизительно: Сольдау, Нейденбургом, Лыком, Ангенбургом и Инстербургом.

4-ое. В Галиции русские войска, продвигающиеся на Львов, достигли Буга и Серета.

5-ое. Войска, действующие на левом берегу Вислы, пойдут прямо к Берлину, как только северо-западным армиям удастся зацепить германскую армию.

6-ое. 28 корпусов, выставленные теперь против Германии и Австрии, состоят приблизительно из 1.120.000 человек.

Вчера германцы вошли в Брюссель. Бельгийская армия отступает на Антверпен. Между Мецом и Вогезами французская армия принуждена отступить, посло того, как она понесла тяжелые потери.

Суббота, 22 августа 1914 г.

Немцы у Намюра. В то время, как один из их корпусов бомбардирует город, большая часть войск продолжает свой путь к истокам Самбры и Уазы. План германского наступления через Бельгию вырисовывается теперь во всей своей полноте.

Воскресенье, 23 августа 1914 г.

Наши союзники с того берега Ла-Манша начинают появляться на бельгийском фронте. Одна дивизия английской кавалерии рассеяла уже немецкую колонну... в Ватерлоо... Веллингтон и Блюхер должны были от этого проснуться в своих могилах... Большое сражение завязывается между Монсом и Шарлеруа.

Русские продвигаются в Восточной Пруссии; они заняли Инстербург.

Понедельник, 24 августа 1914 г.

Мне телеграфируют из Парижа:

Сведения, полученные из самого верного источника, сообщают нам, что два действующие корпуса, находившиеся раньше против русской армии, переведены теперь на французскую границу и заменены на восточной границе Германии полками, составленными из ландвера. План войны германского генерального штаба слишком ясен, чтобы было нужно до крайности настаивать на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите неотложно правительство и настаивайте.

Я обращаюсь немедленно к великому князю Николаю Николаевичу и генералу Сухомлинову. В то же время я уведомляю государя.

В тот же вечер я имею возможность уверить французское правительство, что русская армия продолжает свое движение на Кенисберг и Торн со всей возможной энергией и быстротой. Значительное сражение подготовляется между Наревом и Вкрой.

Сегодня привезли во французский госпиталь в Петербурге адъютанта великого князя Николая Николаевича князя Кантакузена, раненого вблизи Гумбинена пулей в грудь. Доктор Крессон, главный врач, разговаривал с ним несколько минут: раненый еще весь полон наступательного пыла, который увлекает русские войска; он с горячностью утверждает, что великий князь Николай решил, какой угодно ценой, открыть себе дорогу на Берлин.

Вторник, 25 августа 1914 г.

Немцы победили при Шарлеруа; кроме того, они нанесли нам сильный удар на юге Бельгийских Арденн, вблизи от Невшато. Все французские и английские войска отступают к Уазе и к Семуа.

Эти известия, хотя и просеянные цензурой, вызывают в Петербурге струю беспокойства, которому я противодействую, как могу...

На севере Восточной Пруссии русские заняли переправы через реки Алле и Ангерап; германцы отступают к Кенигсбергу.

Третьего дня Япония об'явила войну Германии. Японская эскадра бомбардирует Киао-Чао.

Среда, 26 августа 1914 г.

Французская и английская армии продолжают отступать. Укрепленный лагерь Мобежа окружен. Авангард германской кавалерии производит разведку окрестностей Рубэ.

Я позаботился о том, чтобы эти события были представлены русской прессой в самом надлежащем (и, может быть, в самом истинном) свете, т. е. как временное и методическое отступление, предшествующее будущему повороту лицом к неприятелю, с целью более спокойного и более решительного наступления. Все газеты поддерживают этот тезис.

Великий князь Николай Николаевич передает мне через Сазонова:

— Отступление, предписанное генералом Жоффром, согласно со всеми правилами стратегии. Мы должны желать, чтобы отныне французская армия как можно меньше подвергалась опасности; чтобы она не поддавались деморализации; чтобы

она берегла всю свою способность к нападению и свободу маневра до того дня, когда русская армия будет в состоянии нанести решительные удары.

Я спрашиваю Сазонова:

— Скоро ли наступит этот день?... Подумайте, что наши потери громадны и что немцы находятся в 250 километрах от Парижа....

— Я думаю что великий князь Николай Николаевич намерен предпринять важную операцию, чтобы задержать возможно большее число немцев на нашем фронте.

— Без сомнения, в окрестностях Сольдау и Млавы?

— Да!

В этом кратком ответе, мне кажется, я чувствую некоторое умолчание. Поэтому я умоляю Сазонова быть более откровенным.

— Подумайте,—говорю я,—какой это серьезный момент для Франци...

— Я знаю это..... и я не забываю того, чем мы обязаны Франции; этого не забывают также ни государь, ни великий князь. Следовательно, вы можете быть уверены, что мы сделаем все, что в наших силах, с целью помочь французской армии... Но, с точки зрения практической, трудности очень велики. Генерал Жилинский, главнокомандующий северо-западным фронтом, считает, что всякое наступление в Восточной Пруссии обречено на верную неудачу, потому что наши войска еще слишком разбросаны и перевозки встречают много препятствий. Вы знаете, что местность пересечена лесами, реками и озерами... Начальник штаба генерал Янушкевич разделяет мнение Жилинского и сильно отговаривает от наступления. Но квартирмейстер, генерал Да-

нилов, с не меньшей силой настаивает на том, что мы не имеем права оставлять нашу союзницу в опасности и что, несмотря на несомненный риск предприятия, мы должны немедленно атаковать. Великий князь Николай Николаевич издал об этом приказ.... Я не удивлюсь, если операции уже начались.

Четверг, 27 августа 1914 г.

Немцы вошли в Перонн и Лонгви. В Париже образовано министерство национальной обороны. Вивиани сохраняет председательство в совете, без портфеля; Бриан получил министерство юстиции, Делькассэ—министерство иностранных дел, Мильеран—военное, Рибо—финансов и т. д.... Два об'единенных социалиста, Жюль Гэд и Марсель Семба, входят в кабинет.

Эта комбинация производит здесь наилучшее впечатление. Ее толкуют, в одно и то же время, как блестящее обнаружение нашей национальной солидарности и как залог непреклонной решимости, с которой Франция будет продолжать войну.

Пятница, 28 августа 1914 г.

Великий князь Николай Николаевич сдержал слово. По его повелительному приказу пять корпусов генерала Самсонова атаковали третьего дня неприятеля в районе Млава—Сольдау. Место нападения хорошо выбрано, чтобы заставить немцев перевести туда многочисленные силы, потому что победа русских в направлении Алленштейна имела бы двойной результат: открыла бы им дорогу на Данциг и отрезала бы отступление германской армии, разбитой под Гумбиненом.

Суббота, 29 августа 1914 г.

Сражение, завязавшееся в Сольдау, продолжается с ожесточением. Каков бы ни был окончательный результат, достаточно уже того, что борьба продолжается, чтобы английские и французские войска имели время переформироваться в тылу и продвинуться вперед.

Русские войска на юге находятся в 40 километрах от Львова.

Воскресенье, 30 августа 1914 г.

Сегодня утром, войдя в кабинет Сазонова, я поражаюсь его мрачным и напряженным видом:

— Что нового? — говорю я ему.

— Ничего хорошего.

— Дела плохи во Франции?

— Немцы приближаются к Парижу.

— Да, но наши войска целы и их моральное состояние превосходно. Я с уверенностью жду, что они повернуться лицом к неприятелю... А сражение при Сольдау?

Он молчит, кусая губы, мрачно глядя. Я спрашиваю:

— Неудача?

— Большое несчастье.... Но я не имею права говорить вам об этом. Великий князь Николай не хочет, чтобы эта новость стала известной раньше, чем через несколько дней. Она и так распространилась слишком быстро и широко, потому что наши потери ужасны.

Я спрашиваю у него некоторые подробности. Он утверждает, что у него нет никаких точных сведений.

— Армия Самсонова уничтожена. Это — все, что я знаю.

После некоторого молчания он продолжает простым тоном:

— Мы должны были принести эту жертву Франции, которая показала себя такой верной союзницей.

Я благодарю его за эту мысль. Затем, несмотря на большую тяжесть, которая лежит и у него, и у меня на сердце, мы переходим к обсуждению текущих дел.

В городе никто еще не подозревает о несчастьи при Сольдау. Но непрерывное отступление французской армии и быстрое продвижение немцев на Париж возбуждают в публике самые пессимистические предположения. Вожаки распутинской клики заявляют даже, что Франция скоро будет принуждена заключить мир. Высокопоставленному лицу, которое повторяет мне эту клевету, я отвечаю, что характер государственных людей, которые только что приняли власть, не позволяет останавливаться хоть на одно мгновение на таком предположении, что, к тому же, дело еще далеко не проиграно и что день победы, может быть, близок.

Понедельник, 31 августа 1914 г.

При Сольдау русские потеряли 110.000 человек, из них 20.000 убитыми или ранеными, и 90.000 пленными. Два из пяти начавших сражение корпусов, 13-й и 16-й, были окружены. Вся артиллерия уничтожена.

Предположения высшего командования были, к сожалению, слишком правильны: наступление было преждевременно. Основная причина неудачи—недостаточное сосредоточение войск и чрезмерная трудность перевозок в области, изрезанной реками, усыпанной озерами и лесами. Кажется, несчастье было еще

увеличено ошибкой в движении: генерал Артамонов, который командовал левым флангом, отошел на двадцать верст назад, не предупредив генерала Самсонова. Один из пунктов, где сражение было наиболее ожесточенным,—деревня Танненберг, в 35 километрах на север от Сольдау. Там в 1410 году польский король Владислав V дал бой тевтонским рыцарям: первая победа славянства над германизмом. Отсроченный на пятьсот четырнадцать лет, реванш тевтонов тем более ужасен.

Вторник, 1-го сентября 1914 г.

Сазонов сообщает мне сегодня утром, на основании телеграммы Извольского, что правительство республики решило перехать в Бордо, если главнокомандующий найдет, что высшие интересы национальной обороны пробуждают не преграждать немцам дороги на Париж.

— Это—решение горестное, но прекрасное,—говорит он мне,—и оно заставляет меня удивляться французскому патриотизму. Затем он сообщает мне телеграммы, посланные 30-го и 31-го августа полковником Игнатьевым, военным атташе при французской главной квартире, каждая фраза которых проникает в меня, как удар кинжала: немецкая армия, обойдя левый фланг французской армии, непреодолимо продвигается на Париж, переходами в 30 километров в среднем... По моему мнению, вступление немцев в Париж есть только вопрос дней, так как французы не располагают достаточными силами, чтобы произвести контр-атаку против обходящей группы, без риска быть отрезанными от остальных войск.... К счастью, он он признает, что дух войск остается превосходным.

Сазонов спрашивает меня:

— Разве нет способов защищать Париж?... Я думал, что Париж, основательно укреплен.... Я не могу скрыть от вас, что взятие Парижа произвело бы здесь прискорбное впечатление..., особенно после нашего несчастья у Сольдау; так как в конце концов, узнают, что мы потеряли 110.000 человек при Сольдау.

Взяв снова телеграммы полковника Игнатьева, я оспариваю, как только могу его заключения; я уверяю, что укрепленный лагерь вокруг Парижа сильно вооружен, и утверждаю, что характер генерала Галлиени гарантирует нам упорство сопротивления.

Указом, подписанным вчера вечером, установлено, что город Санкт-Петербург будет отныне называться Петроградом. Как политическая манифестация, как протест славянского национализма против немецкого втирания, мера эта настолько же демонстративна, насколько своевременна. Но с точки зрения исторической, это—бессмыслица.

Среда, 2-го сентября 1914 г.

Сообщение русского штаба об'являет о несчастии при Сольдау в следующих выражениях: „Вследствии накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерией, от которой мы понесли большие потери... Генерал Самсонов, Мартос и Пестич и некоторые чины штабов погибли“....

Публика не обманывается этим лаконизмом. Шопотом передают всевозможные версии относи-

тельно этого сражения; преувеличивают цифры потерь; обвиняют ген. Ренненкампфа в измене; доходят до того, что говорят, будто немцы имеют шпионов среди окружающих Сухомлинова лиц; наконец, уверяют, что ген. Самсонов не был убит, но что он покончил самоубийством, не желая пережить уничтожения своей армии.

Ген. Беляев, начальник главного управления генерального штаба, утверждает, что энергичное наступление русских в Восточной Пруссии и быстрота их продвижения на Львов—заставляют немцев возвращать на восток войска, которые направлялись во Францию:

— Я могу,—говорит он мне,—гарантировать вам, что немецкий штаб не ожидал, что мы так быстро вступим в строй; он думал, что наша мобилизация и наше сосредоточивание войск будут происходить значительнее медленнее; он рассчитывал, что мы не сможем начать наступление, ни в одном пункте, раньше 15 или 20 сентября, и он полагал, что до тех пор он будет иметь время вывести Францию из строя... Итак, я считаю, что немцам не удалось привести в исполнение их первоначальный план....

Четверг, 3 сентября 1914 г.

От Уазы до Вогезов семь немецких армий, грозный Левиафан из стали, продолжают свое охватывающее наступление, с быстротой переходов, с совершенством маневров и силой ударов, о которых еще ни одна война не давала представления. В настоящий момент линия французской и английской армий отмечается с востока на запад таким образом: Бельфор, Верден, Витри ле Франсуа, Сезанн, Мо, Понтуаз.

В Галиции, к счастью, успех у русских блестящий. Они вступили во Львов. Отступление австро-венгерцев приняло характер бегства.

С 17 августа русские, отправившись от линии Ковель — Ровно — Проскуров, продвинулись на 200 километров. Во время этой операции они захватили 70.000 человек и 300 орудий. На фронте Люблин — Холм австро-венгерцы еще сопротивляются.

Пятница, 4 сентября 1914 г.

Угроза, которая парит над Парижем, поддерживает в русском обществе пессимистическое настроение, почти заставляющее забывать победу у Львова. Здесь не сомневаются в том, что германцы овладеют приступом укрепленным лагерем Парижа. После этого, как говорят, Франция будет принуждена капитулировать. Затем Германия обратится всей своей массой на Россию.

Откуда исходят эти слухи? Кем они распространяются?

Разговор, который я только что имел с одним из моих тайных осведомителей, N, слишком просвещает меня в этом отношении. Личность эта подозрительная, как все люди его ремесла; но он хорошо осведомлен о том, что происходит и что говорится среди лиц, окружающих монархов. Кроме того, он теперь имеет особую вескую причину говорить со мною искренно. После восхваления великолепного патриотизма, воодушевляющего Францию, он продолжает:

— Я пришел заимствовать у вас немного бодрости, ваше превосходительство, так как, не скрою от вас, я отовсюду слышу самые мрачные предсказания.

— Пусть бы подождали, по крайней мере, результата сражения, которое начинается на Марне... И, даже если это сражение не будет удачным для нас, дело еще вовсе не станет безнадежным...

Я подтверждаю свое уверение рядом положительных фактов и обдуманных предположений, которые не оставляют мне никакого сомнения в нашей окончательной победе, если у нас хватит хладнокровия и упорства.

— Это правда,—отвечает N,—это правда! И мне очень приятно это слышать. Но есть один элемент, который вы не принимаете в соображение, и который играет большую роль в пессимизме, наблюдаемом повсюду... особенно в высших сферах.

— Ах, особенно в высших сферах?

— Да, в высших слоях Двора и общества, среди людей, которые обычно близки к монархам, и которые больше всего беспокоятся.

— Почему же?

— Потому что... потому что в этих кругах уже давно обращают внимание на неудачи императора; знают, что ему не удается все, что он предпринимает, что судьба всегда против него, наконец, что он явно обречен на катастрофы. К тому же, кажется, что линии его руки ужасны.

— Как... такие пустяки могут производить впечатление?

— Чего же вы хотите, господин посол. Мы — русские и, следовательно, суеверны. Но разве не очевидно, что императору предопределены несчастья?

Понизив голос, как если бы он сообщал мне страшную тайну, и устремив на меня пронзительный взляд своих желтых глаз, которые по временам вспыхивают мрачным огнем, он перечисляет невероятный ряд происшествий, разочарований, пре-

вратностей судьбы, несчастий, которые в продолжение девятнадцати лет отмечали царствование Николая II. Ряд этот начинается торжеством коронации, на Ходынском поле, в Москве, где 2000 мужиков были задавлены в суматохе. Через несколько недель император отправляется в Киев; на его глазах тонет в Днепре пароход, с тремя стами людей. Несколько недель спустя он присутствует в поезде при внезапной смерти своего любимого министра, князя Лобанова. Живя под постоянной угрозой анархистских бомб, он страстно желает сына, наследника; родятся четыре дочери подряд, и, когда Господь, наконец, дарует ему сына, ребенок носит в себе зародыш неизлечимой болезни. Не любя ни роскоши, ни света, он стремится отдохнуть от власти среди спокойных семейных радостей: его жена—несчастная, нервная больная, которая поддерживает вокруг себя волнение и беспокойство. Но это еще не все: после мечтаний об окончательном царстве мира на земле, он вовлечен несколькими интриганами своего Двора в войну на Дальнем Востоке; его армии, одна за другой, разбиты в Манджурии, его флот потоплен в морях Китая. Затем, великое революционное дуновение проносится над Россией: бунты и резня следуют друг за другом, без перерыва, в Варшаве, на Кавказе, в Одессе, Киеве, Вологде, Москве, Петербурге, Кронштадте; убийство великого князя Сергея Александровича открывает эру политических убийств. И когда волнение едва успокаивается, председатель Совета Столыпин, который выказал себя спасителем России, падает однажды вечером, в киевском театре, перед императорской ложей, под револьверным выстрелом агента тайной полиции.

Дойдя до конца этой мрачной серии, N. заключает:

— Вы признаете, ваше превосходительство, что император обречен на катастрофы и что мы имеем право бояться, когда размышляем о песпективах, которые эта война открывает перед нами?

— Следует относиться к своей судьбе без трепета, ибо я из тех, которые верят, что судьба должна считаться с нами; но если вы так чувствительны к несчастным влияниям, разве вы не заметили, что царь имеет теперь среди своих противников человека, который, что касается неудач, не уступит первенства никому, а именно—императора Франца-Иосифа. В игре против него нет риска, потому, что выигрыш несомненен.

— Да, но есть еще Германия. И мы не в силах ее победить.

— Одни нет. Но рядом с вами стоят Франция и Англия... Затем, ради Бога, не говорите себе заранее, что вы не в силах победить Германию. Сражайтесь сначала со всей энергией, со всем героизмом, на который вы способны, и вы увидите, что с каждым днем победа будет вам казаться более верной.

Среда, 9 сентября 1914 г.

На восток от Парижа, от Урка до Монмирайля, французские и английские войска медленно продвигаются вперед. По совершенно правильному инстинкту русское общественное мнение гораздо более интересуется сражением на Марне, чем победами в Галиции.

Вся судьба войны действительно решается на западном фронте. Если Франция не устоит, то Россия принуждена будет отказаться от борьбы. Бои в восточной Пруссии дают мне каждый день новые доказательства этого. Ясно, что русским не по плечу бороться с немцами, которые подавляют

их превосходством тактической подготовки, искусством командования, обилием боевых запасов, разнообразием способов передвижения. За то русские кажутся равными с австро-венгерцами; они имеют даже преимущество в рвении и в стойкости под огнем.

Четверг, 10 сентября 1914 г.

На восток от Вислы, на границе северной Галиции и Польши, русские прорвали неприятельскую линию между Красником и Томашевом.

Но в Восточной Пруссии армия генерала Ренненкампфа в расстройстве.

Из Франции известия удовлетворительны. Наши войска перешли Марну между Мо и Шато-Тьерри. У Сезанна прусская гвардия была отброшена на север от Сент-Гондских болот. Если наш правый фланг, который образует „петлю" и простирается от Бар-ле-Дюка до Вердена, будет стойко держаться, вся немецкая линия разорвется.

Пятница, 11 сентября 1914 г.

Победа! Мы выиграли сражение на Марне! На всем фронте германские войска отступают на север! Теперь Париж вне опасности! Франция спасена!

Русские также победили между Красником и Томашевым. Австро-венгерские силы, увеличенные немецкими подкреплениями, доходили более, чем до миллиона человек; артиллерии насчитывалось более 2500 пушек. За то армия генерала Ренненкампфа должна была покинуть Восточную Пруссию; немцы заняли Сувалки.

V.

Распутин.

Суббота, 12 сентября 1914 г.

Распутин, выздоровевший после насенной ему раны, вернулся в Петроград. Он легко убедил императрицу в том, что его выздоровление есть блистательное доказательство божественного попечения.

Он говорит о войне не иначе, как в туманных, двусмысленных, апокалиптических выражениях; из этого заключают, что он ее не одобряет, и предвидят большие несчастия.

Воскресенье, 27 сентября 1914 г.

Я завтракаю у графини Б., сестра которой очень хороша с Распутиным. Я спрашиваю ее о старце.

— Часто ли он видит императора и императрицу со времени своего возвращения?

— Не очень часто. У меня такое впечатление, что их величества держат его в стороне в данный момент... Послушайте, например: третьего дня он был в двух шагах отсюда, у моей сестры. Он при нас телефонирует во дворец, чтобы спросить у г-жи Вырубовой, может ли он вечером посетить императрицу. Она отвечает ему, что он сделает лучше, если подождет несколько дней. Повидимому, это было ему очень досадно, и он тотчас же по-

кинул нас, даже не простившись... Недавно еще он не стал бы даже спрашивать, можно ли ему притти во дворец; он прямо бы отправился туда.

— Как об'ясняете вы это внезапное изменение в его судьбе?

— Просто тем фактом, что императрица отвлечена от своих меланхолических мечтаний. С утра до вечера она занята своим госпиталем, своим домом призрения трудящихся женщин, своим санитарным поездом. У нее никогда не было лучшего вида.

— Действительно ли Распутин утверждал государю, что эта война будет губительна для России и что надо немедленно же положить ей конец?

— Я сомневаюсь в этом... В июне, незадолго до покушения Гусевой, Распутин часто повторял государю, что он должен остерегаться Франции и сблизиться с Германией; впрочем, он только повторял фразы, которым его с большим трудом учил старый князь Мещерский. Но со времени своего возвращения из Покровского он рассуждает совсем иначе. Третьего дня он заявил мне: „Я рад этой войне; она избавила нас от двух больших зол: от пьянства и от немецкой дружбы. Горе царю, если он согласится на мир раньше, чем сокрушит Германию".

— Браво! Но так же ли он из'ясняется с монархами? Недели две тому назад мне передавали совсем иные слова.

— Может быть, он их говорил... Распутин не политический деятель, у которого есть система, есть программа, которыми он руководствуется при всех обстоятельства. Это—мужик, необразованный, импульсивный, мечтатель, своенравный, полный противоречий. Но, так как он, кроме того, очень житер и чувствует, что его положение во дворце пошат-

нулось, я была бы удивлена, если бы он открыто высказался против войны.

— Находились ли вы под его очарованием?

— Я? Совсем нет! Физически он внушает мне отвращение, у него грязные руки, черные ногти, запущенная борода. Фуй! Но все же, признаюсь, он меня забавляет. У него необыкновенное вдохновение и воображение. Иногда он очень красноречив, у него образная речь и глубокое чувство таинственного...

— Он действительно так красноречив?

— Да, уверяю вас, у него иногда бывает очень оригинальная и увлекательная манера говорить. Он попеременно фамильярен, насмешлив, свиреп, весел, нелеп, поэтичен. При этом — никакой позы. Напротив, неслыханная бесцеремонность, ошеломляющий цинизм.

— Вы удивительно мне его описываете.

— Скажите мне откровенно: вы не хотите с ним познакомиться?

— Конечно, нет! Это было бы слишком компроментантно. Но прошу вас, держите меня в курсе его поступков и выходок, он меня беспокоит.

Понедельник, 28 сенября 1914 г.

Я рассказываю Сазонову то, что графиня Б. мне вчера говорила о Распутине.

Его лицо искажается судорогой:

— Ради Бога, не говорите мне об этом человеке. Он внушает мне ужас... Это не только авантюрист и шарлатан: это—воплощение диавола, это—антихрист.

О Распутине сложилось уже столько мифов, что я считаю полезным записать несколько достоверных фактов.

Григорий Распутин родился в 1871 году в бедном селе Покровском, расположенном на окраине западной Сибири, между Тюменью и Тобольском. Его отец был простой мужик, пьяница, вор и барышник; его имя—Ефим Новый. Прозвище Распутина, которое молодой Григорий вскоре получил от своих товарищей, является характерным для этого периода его жизни и пророческим для последующего; это—слово из крестьянского языка, произведенное от слова распутник, которое значит „развратник", „гуляка", „обидчик девушек". Часто битый отцами семейств и даже публично высеченный по приказанию исправника, Григорий нашел однажды свой путь в Дамаск.

Поучение одного священника, которого он вез в монастырь в Верхотурье, внезапно пробудило его мистические инстинкты. Но сила его темперамента, горячность его чувств и необузданная смелость его воображения бросили его почти тотчас же в развратную секту бичующихся изуверов или хлыстов. Среди бесчисленных сект, которые более или менее откололись от оффициальной церкви, и которые таким странным образом обнаруживают моральную недисциплинированность русского народа, его склонность к таинственному, его вкус к неопределенному, к крайностям и к абсолютному, хлысты отличаются сумасбродностью и изуверством своих обычаев. Они живут преимущественно в районе Казани, Симбирска, Саратова, Уфы, Оренбурга, Тобольска; их число определяют приблизительно в сто двадцать тысяч. Самая высшая духовность, казалось бы, одушевляет их учение, потому что они себе приписывают ни более, ни менее, как непосредственное сношение с Богом и воплощение Христа; но чтобы достигнуть этого причастия к небесному, они погружаются во все безумства плоти.

Правоверные, мужчины и женщины, собираются по ночам — то в избе, то на лужайке в лесу. Там, призывая Бога, при пении церковных песен, выкликая гимны, они танцуют, став в круг, со все ускоряющейся быстротой. Руководитель пляски бичует тех, чья бодрость слабеет. Вскоре головокружение заставляет их всех валиться на землю в исступлении и судорогах. Тогда, исполненные и опьяненные „божественным духом", пары страстно обнимаются. Литургия оканчивается чудовищными сценами сладострастия, прелюбодеяния и кровосмешения.

Богатая натура Распутина подготовила его к восприятию „божественного наития". Его подвиги во время ночных радений быстро приобрели ему популярность. Одновременно развивались и его мистические способности. Скитаясь по деревням, он говорил евангельские проповеди и рассказывал притчи. Постепенно он отважился на пророчества, на заклинание бесов, на колдовство; он даже тем хвастался, что творил чудеса. На сто верст вокруг Тобольска не сомневались более в его святости. Но, несмотря на это, в этот период у него были неприятности с правосудием из-за слишком шумных грешков: он бы с трудом из этого выпутался, если бы церковные власти не приняли его под свое покровительство.

В 1904 году молва об его благочестии и слава об его добродетели достигла Петербурга. Известный духовидец, отец Иоанн Кронштадтский, который утешал Александра III в его агонии, захотел узнать молодого сибирского пророка; он принял его в Александро-Невской лавре и радовался, констатировав, на основании несомненных признаков, что он отмечен Богом. После этого появления

в столице, Распутин отправляется обратно в Покровское. Но с этого дня горизонты его жизни расширились. Он вошел в сношения с целой шайкой священников, больших или меньших фанатиков, больших или меньших шарлатанов, более или менее беспутных, каких сотни среди подонков русского духовенства. Тогда он взял себе в спутники монаха, ругателя и буяна, чудотворца и эротомана, обожаемого народом, жестокого врага либералов и евреев, отца Илиодора, который позже взбунтовался в своем монастыре в Царицыне и держал святейший синод в нерешительности буйностью своего реакционного фанатизма. Григорий вскоре перестал удовлетворяться обществом мужиков и простых попов; его видели важно прогуливающимся с протоиереями, с игуменами, с архиереями, с архимандритами, которые все согласно признавали, подобно Иоанну Кронштадтскому, в нем „искру Божию". Между тем, он должен был отражать постоянные приступы диавола, и часто поддавался им. В Царицыне он лишил невинности монахиню, из которой взялся изгнать беса. В Казани однажды, в светлый июньский вечер, будучи пьян, он вышел из публичного дома, толкая перед собою раздетую девушку, которую он хлестал поясом, что привело в большое негодование весь город. В Тобольске он соблазнил благочестивую супругу одного инженера, г-жу Л., и так влюбил ее в себя, что она всюду кричала о своей любви и гордилась своим позором.

Благодаря этим подвигам, которые беспрестанно повторялись, обаяние его святости росло с каждым днем. На улицах, на его пути, становились на колени, целовали ему руки, прикасались к подолу его тулупа, говорили ему: „Христос наш, спаситель наш, молись за нас, грешных... Господь послушает

тебя". Он отвечал: „Во имя отца, сына и святого духа, благословляю вас, братья! Уповайте! Христос скоро явится. Терпите, в память его смерти! Умерщвляйте вашу плоть ради любви к нему".

В 1905 г. архимандрит Феофан, ректор духовной академии в Петербурге, духовное лицо высокого благочестия, духовник императрицы, возымел прискорбную мысль пригласить к себе Распутина, чтобы вблизи наблюдать чудесные действия благодати в этой наивной душе, которую бесовские силы так жестоко терзали. Тронутый его искренним рвением, он ввел его под своим покровительством в среду своих благочестивых клиентов, среди которых было много спиритов. Григорию было достаточно появиться, чтобы изумить и очаровать это общество, праздное, легковерное, предававшееся самым нелепым упражнениям теургии, оккультизма и некромантии.

— Все мистические сборища вырывали друг у друга сибирского пророка, „избранника Божия". По странному явлению коллективного заблуждения, престиж старца нигде не утверждался сильнее, чем в серьезной среде, в кругу лиц образцового поведения и нравственности. Было достаточно таких достойных уважения рекомендаций, чтобы оба монарха согласились принять Распутина: это было летом 1907 года. Однако же, накануне аудиенции, император и императрица имели последнее сомнение. Они советовались с архимандритом Феофаном, который их вполне успокоил: „Григорий Ефимович,—сказал он им,—крестьянин, простой человек. Вашим величествам принесет пользу его выслушать, потому что голос русской земли слышится из его уст... Я знаю все, в чем его упрекают... мне известны его грехи: они бессчисленны и чаще всего мерзки. Но в нем есть такая сила раскаяния и

такая наивная вера в божественное милосердие, что я почти ручаюсь за его вечное спасение. После каждого раскаяния он чист, как младенец, который только что омыт водою, при крещении. Господь явно дарует ему свою любовь".

Со своего вступления во дворец Распутин приобрел необыкновенное влияние на монархов. Он их наставил, ослепил, нравственно поработил: это было как бы колдовство. Не то, чтобы он льстил. Напротив, с первого же дня он с ними обходился грубо, с дерзкой и решительной фамильярностью, с вульгарным и цветистым многословием, в котором оба монарха, пресыщенные лестью и угодливостью, казалось, наконец, признали „голос русской земли". Став очень быстро другом г-жи Вырубовой, которая является неразлучной подругой императрицы, он через нее пользовался значительным влиянием.

Все интриганы двора, все попрошайки должностей естественно искали его поддержки. Скромная квартира, которую он занимал на Кирочной улице, а позже — на Английском проспекте, день и ночь осаждалась просителями, — генералами и чиновниками, архиереями и архимандритами, статскими советниками и сенаторами, адъютантами и камергерами, статс-дамами и светскими женщинами: это было непрерывное шествие. Его встречали, главным образом, у старой графини О., которая собирала в своем салоне, на Французской набережной, черных поборников самодержавия и теократии. Первые сановники церкви любили собираться у нее: повышения в церковной иерархии, назначения в святейший синод, наиболее важные вопросы вероучения, благочиния и церковной службы обсуждались при ней. Ее моральный авторитет, признаваемый всеми, был для Распутина драгоценным вспомогательным средством. Она имела иногда небесные видения.

Однажды вечером, во время спиритического сеанса, святой Серафим Саровский, канонизированный в 1903 году, явился ей. С сверкающим венцом вокруг головы, он сказал: „Среди вас находится великий пророк. Его назначение открывать царю волю Провидения и вести его по славному пути". Она тотчас же поняла, что он указывал на Распутина. Император был глубоко поражен этим пророчеством, так как он, как глава церкви, принимал видное участие в канонизации блаженного Серафима и относился к нему с особым благоговением.

Среди лиц, покровительствовавших первым шагам Распутина, была странная фигура доктора Бадмаева. Это — сибиряк из Забайкалья, монгол, бурят. Хотя и лишенный всякого университетского диплома, он занимается медициною не тайком, но совершенно открыто,—к тому же странной медициной, соединенной с колдовством. Когда он узнал Распутина, в 1906 году, у него была крупная неприятность, какие случаются иногда с самыми честными людьми его сорта.

В конце японской войны один из его высокопоставленных клиентов выразил ему свою благодарность, устроив так, что ему было дано политическое поручение к наследственным правителям китайской Монголии. Чтобы обеспечить их содействие, ему было поручено разделить между ними двести тысяч рублей. Вернувшись из Урги, он изложил в докладе блестящие результаты своего путешествия и, на основании этой бумаги, его надлежащим образом поблагодарили. Но, немного времени спустя, открылось, что двести тысяч рублей он оставил себе. Дело начало принимать плохой оборот, когда посредничество высокопоставленного клиента все уладило. Терапевт вернулся тогда, со спокойным духом, к своим кабалистическим дей-

ствиям. Никогда еще больные не стекались в таком количестве в его кабинет на Литейном проспекте, потому что распространился слух будто он привез из Монголии всевозможные лечебные травы и магические рецепты, с большим трудом полученные от тибетских колдунов. Сильный своим невежеством и „озарением", Бадмаев, не колеблясь, берется лечить в самых трудных, самых неясных медицинских случаях; однако же, он оказывает некоторое предпочтение нервным болезням, психическим страданиям и расстройствам, связанным с женской физиологией. Он составил себе тайные описания способов приготовления лекарств. Под неправильными названиями и видом он сам приготовляет лекарства, которые прописывает. Он ведет, таким образом, опасную торговлю наркотическими, болеутоляющими, анестезирующими, возбуждающими средствами; он называет их тибетским элексиром, порошком из Нирвритти, бальзамом из Ниен-Чена, эссенцией черного лотоса и т. д.

В действительности же, он добывает составные части своих лекарственных снадобий у аптекаря-соумышленника. Несколько раз государь и государыня призывали его к наследнику, когда обыкновенные врачи казались бессильными остановить гемофилитические припадки ребенка. Там он узнал Распутина. Эти шарлатаны мгновенно поняли друг друга и соединились.

Но, со временем, здоровые круги столицы возмутились всеми скандальными рассказами, которые распространялись о старце из Покровского. Его частые посещения императорского дворца, его доказанная роль в известных произвольных или злополучных актах верховной власти, наглая заносчивость его разговоров, циническое бесстыдство его проступков возбудили со всех сторон ропот возму-

щения. Несмотря на строгости цензуры, газеты указывали на бесчестие сибирского чудотворца, не рискуя, однако, затрагивать их величества; но публика понимала с полуслова. „Избранник Божий" почувствовал, что было бы хорошо исчезнуть на некоторое время. В марте 1911 года он взял посох странника и отправился в Иерусалим. Это неожиданное решение наполнило его ревнителей грустью и восхищением: только святая душа могла так ответить на оскорбления злых людей.. Затем он провел лето в Царицыне, у своего доброго друга и помощника, монаха Илиодора.

Между тем, императрица не переставала ему писать и телеграфировать. Осенью она заявила, что не может более выносить его отсутствия. К тому же, с тех пор, как старца допустили уехать, кровотечения у наследника стали более частыми. Что, если ребенок умрет!.. Мать не имела больше покоя ни одного дня: это были постоянные нервные припадки, судороги, обмороки. Император, который любит свою жену и обожает сына, вел самую тягостную жизнь...

В начале ноября Распутин вернулся в Петербург. И тотчас же снова начались безумства и оргии. Но среди его адептов уже обнаруживался некоторый разлад: одни считали его компрометирующим и чрезмерно сластолюбивым; другие безпокоились из-за его возростающего втирания в церковные и государственные дела. Церковный мир весь еще содрагался от постыдного назначения, вырванного по слабости императора: Григорий получил тобольскую епархию для одного из своих товарищей детства, невежественного и непристойного крестьянина, отца Варнавы. В то же время стало известным, что обер-прокурор святейшего синода получил приказание посвятить Распутина в священники. На этот

раз произошел взрыв. 29 декабря Гермоген, саратовский епископ, монах Иллиодор и несколько священников поссорились со старцем. Они ругали и толкали его, называя: „Окаянный!.. святотатец!.. любодей!.. вонючее животное!.. дьявольская гадюка!..“

Наконец, они плевали ему в лицо. Сначала Григорий, оробевший, припертый к стене, пытался защищаться потоком ругательств. Тогда Гермоген, человек громадного роста, стал наносить ему по черепу большие удары своим нагрудным крестом, крича: „На колени, негодяй! На колени перед святыми иконами! Моли Бога простить твои нечестивые поношения. Клянись, что ты не осмелишься больше заражать своей грязной личностью дворец нашего возлюбленного Царя“... Распутин, дрожа от страху, с кровотечением из носу, бил себя в грудь, бормотал молитвы, клялся никогда больше не являться на глаза к государю. Наконец, он, ушел под новым залпом проклятий и плевков.

Ускользнув из этой западни, он немедленно устремился в Царское Село. Его не заставили долго ждать радостей мести. Через несколько дней повелительным словом обер-прокурора святейшего синода Гермоген был лишен своего епископства и сослан в Жировицкий монастырь, в Литву. Что же касается монаха Илиодора, то схваченный жандармами, он был заключен в исправительный монастырь во Флорищеве, вблизи Владимира.

Полиция была сначала бессильна заглушить этот скандал. Произнося речь в Думе, глава партии октябристов Гучков говорил в глухих выражениях о преступности отношений Распутина и Двора. В Москве, религиозной и нравственной столице России, самые призванные, самые уважаемые представители православного славянства, граф Шере-

метьев, Самарин, Новоселов, Дружинин, Васнецов публично протестовали против раболепства святейшего синода; они зашли даже так далеко, что требовали созвания поместного собора для реформы церкви. Сам архимандрит Феофан, который просветился, наконец, относительно „избранника Божия", и не мог простить себе, что ввел его ко Двору, достойным образом возвысил свой голос против него. Тотчас же, несмотря на то, что он был духовником государыни, решением святейшего синода его сослали в Таврическую губернию.

Председательство в совете министров принадлежало тогда Коковцову, который, в то же время, управлял министерством финансов. Неподкупный и смелый, он пытался сделать все возможное, чтобы открыть глаза государю на недостойного старца. Первого марта 1912 года он умолял императора дозволить ему отослать Григория в его родную деревню: „Этот человек обманул доверие вашего величества. Это—шарлатан и негодяй самого низшего разбора. Общественное мнение возбуждено против него. Газеты..." Государь прервал своего министра с презрительной улыбкой: „Вы обращаете внимание на газеты?.." „Да, государь, когда они затрагивают моего монарха и престиж династии. А теперь даже самые лойяльные газеты показывают себя наиболее строгими в своей критике"...

С раздосадованным видом император прервал еще раз:

„Эта критика нелепа. Я знаю Распутина". Коковцов колебался, продолжать ли, но тем не менее, он настаивал: „Государь, во имя династии, во имя вашего наследника, умоляю вас позволить мне принять необходимые меры к тому, чтобы Распутин вернулся в свою деревню и никогда более оттуда не возвращался".

Император холодно ответил:

— Я сам ему скажу, чтобы он уехал и не возвращался больше".

— Должен ли я считать, что таково решение вашего величества?

— Да, это мое решение.

Затем, посмотрев на часы, которые показывали половину первого, император протянул Коковцову руку. „До свидания, Владимир Николаевич, я не задерживаю вас больше".

В тот же день, в четыре часа Распутин вызвал к телефону сенатора Д., близкого друга Коковцова, и закричал ему насмешливым тоном: „Твой друг, председатель, пытался сегодня утром испугать папу. Он наговорил ему обо мне все плохое, что только можно, но это не имело никакого успеха. Папа и мама все-таки меня любят. Ты можешь сказать это от меня Владимиру Николаевичу".

6-го мая того же года, в Ливадии, в императорском дворце, собрались министры в парадной форме, чтобы принести свои поздравления императрице по случаю ее тезоименитства. Когда Александра Федоровна проходила мимо Коковцова, она повернулась к нему спиной.

За несколько дней до этой церемонии старец отправился в Тобольск; он удалялся не по приказанию, но по своей воле, чтобы посмотреть, что делается в его маленьком селе Покровском. Прощаясь с обоими монархами, он произнес с суровым видом грозные слова: „Я знаю, что злые люди меня подстерегают. Не слушайте их... Если вы меня покинете, то потеряете вашего сына и ваш престол через шесть месяцев". Императрица вскричала: „Как могли бы мы тебя покинуть? Разве ты не единственный наш защитник, наш лучший друг?" И, став на колени, она просила у него благословения.

В октябре императорская семья совершила поездку в Спалу, в Польше, где государь любил охотиться в чудном лесу.

Однажды наследник, возвращаясь с прогулки в лодке по озеру, сделал неловкий скачек, чтобы спрыгнуть на землю, и ударился бедром о борт. Ушиб показался сначала поверхностным и безвредным. Но две недели спустя, 19 октября, на сгибе, в паху, появилась опухоль; распухло бедро; затем внезапно поднялась температура. Доктора Федоров, Боткин и Раухфус, спешно приглашенные, определили кровяную опухоль, гематому, которая распространялась. Следовало бы немедленно сделать операцию, если бы гемофилитически диатез не делал опасным всякий разрез. Между тем, температура с каждым часом повышалась; 21 октября она достигла 39,8. Родители не выходили из комнаты больного, так как врачи не скрывали своего крайнего беспокойства. В церкви Спалы священники сменялись, чтобы молиться днем и ночью. По приказанию государя, торжественная литургия была отслужена в Москве, перед чудотворной иконой Иверской Божьей матери. И, с утра до вечера, в Петербурге народ приходил в Казанский собор.

Утром 23-го государыня в первый раз спустилась в гостиную, где находился полковник Нарышкин, дежурный ад'ютант, фрейлина княжна Елизавета Оболенская, Сазонов, который приехал для доклада государю, и граф Владислав Велепольский, начальник императорской охоты в Польше. Бледная, похудевшая, Александра Федоровна все же улыбнулась. На полные тревоги вопросы, которые ей задавали, она отвечала спокойным голосом: „Врачи не констатируют еще никакого улучшения, но я лично больше не беспокоюсь. Я получила сегодня ночью от отца Григория телеграмму, которая меня совер-

шенно успокаивает". Так как ее умоляли выразиться определеннее, она повторила наизусть эту телеграмму: Господь увидел твои слезы и услышал твои молитвы. Не сокрушайся больше. Твой сын останется жив.

На следующий день, 24-го, температура больного спустилась до 38,9. Через два дня опухоль в паху рассосалась. Наследник был спасен.

В течение 1913 года несколько лиц осмелились снова открыть царю и царице глаза на поведение старца и на его нравственную низость.

Это сначала попробовала сделать вдовствующая императрица Мария Федоровна, затем сестра государыни, чистая и благородная великая княгиня Елизавета Федоровна. И сколько еще других лиц... Но всем этим предостережениям, всем этим внушениям оба монарха противополагали один и тот же спокойный ответ: „Это клевета. К тому же на святых всегда клевещут".

В религиозном пустословии, которым Распутин обычно прикрывает свой эротизм, постоянно появляется одна мысль: „Одним только раскаянием можем мы достичь нашего спасения. Нам надо, поэтому, грешить, чтобы иметь повод к раскаянию. Когда Господь посылает нам искушение, мы должны ему поддаваться для того, чтобы доставить себе этим предварительное и необходимое условие успешного раскаяния... К тому же, первое слово жизни и истины, которое Христос принес людям, разве оно не таково: Покайтесь... Но как же принести покаяние, когда раньше не согрешили?"...

Его обычные беседы изобилуют замысловатыми подробностями об искупительной ценности слез и спасительной силе раскаяния. Один из аргументов, к которым он особенно охотно прибегает и которые особенно действуют на его женскую клиентуру,

таков: „Чаще всего нам мешает поддаться искушению не отвращение к греху, потому что, если бы грех действительно внушал нам отвращение, мы не соблазнялись бы его совершить. Разве вы хотите когда нибудь с'есть блюдо, которое вам противно? Нет, нас останавливает и пугает испытание, на которое раскаяние обрекает нашу гордость. Совершенное раскаяние заключает в себе полное смирение. Но мы не хотим смириться даже перед Богом. Вот вся тайна нашего сопротивления греху. Но Высший Судья не обманывается этим... И когда мы будем в долине Иосафата, он напомнит нам все случаи к спасению, которые он нам давал и которые мы отвергли".

Если бы деятельность „старца" оставалась ограниченной областью сладострастья и мистицизма, он был бы для меня только более или менее любопытным об'ектом изучения психологического... или физиологического. Но силою вещей этот невежественный крестьянин стал политическим орудием. Вокруг него сгруппировалась целая клиентура из влиятельных лиц, которые связали свою судьбу с ним.

Самый видный из них—министр юстиции, глава крайней правой в Государственном Совете, Щегловитов; человек живого ума, легкой и язвительной речи, он вносит в осуществление своих планов много рассчета и изворотливости; он, к тому же, лишь недавний адепт „распутинства". Почти так же значителен министр внутренних дел Николай Маклаков, льстивая покорность которого нравится монархам. Затем идет обер-прокурор святейшего синода Саблер, человек презренный и низкопоклонный; при его посредстве „старец" держит в руках всех епископов и все высшие церковные должности. Тотчас за этим я назову обер-прокурора сената Добровольского, затем члена Государственного Совета

Штюрмера, затем дворцового коменданта, зятя министра двора, генерал-ад'ютанта Воейкова. Я назову, наконец, очень смелого и хитрого директора департамента полиции Белецкого. Легко себе представить громадное могущество, которое представляет коалиция подобных сил в самодержавном и централизованном государстве, вроде России.

Чтобы уравновесить зловредные происки этой шайки, я вижу около государя только одно лицо, начальника военной его величества канцелярии, князя Владимира Орлова, сына прежнего посла в Париже. Человек прямой, гордый, всей душой преданный императору, он с первого же дня высказался против Распутина и не устает бороться с ним, что, конечно, вызывает враждебное к нему отношение со стороны государыни и г-жи Вырубовой.

Вторник, 29 сентября 1914 г.

Сегодня утром, я принимаю у себя одного француза, Роберта Готио, профессора в Ecole des Hautes Etudes de Paris, который приехал с Памира, где производил исследования по этнологии и лингвистике.

В первой половине августа он исследовал, в окрестностях Хорога, долину, расположенную на высоте 4000 метров, на склонах Гинду-Куша; он продвинулся на двенадцать дней пути за крайний русский аванпост, который надзирает за Ферганской границей 16-го августа один туземец, посланный им за провизией на этот передовой пост, сообщает ему, что Германия об'явила России и Франции войну. Он немедленно уезжает. Одним духом, через Маргелан, Самарканд, Тифлис, Москву он достигает Петрограда.

Я излагаю ему необыкновенный ряд событий, накопившийся в течении двух месяцев. Он заявляет мне о своем горячем нетерпении вернуться во

Францию, чтобы нагнать свой территориальный полк. Затем мы говорим о будущем; мы высчитываем громадное напряжение, которое надо будет осуществить, чтобы уничтожить германское могущество, и т. д. Его оценка тем более меня интересует, что он много раз и подолгу жил в Германии; он говорит мне:

— Я много имел дела с немецкими социалистами, я хорошо знаю их учение и еще лучше—их дух. Будьте уверены, господин посол, что они всеми силами будут содействовать делу войны и будут сражаться, как самые упорные юнкера, до последней возможности. К тому же, я тоже социалист, я даже анти-милитарист; и вы видите, что это не мешает итти защищать свою родину.

Я поздравляю его с подобным рвением и приглашаю его на следующий день к завтраку.

Когда он уходит, я размышляю над тем, что только что имел перед глазами красноречивое доказательство патриотизма, который, несмотря на столько противоположных крайностей, воодушевляет французских интеллигентов.

Вот один из них, который узнает о войне в глубине Памира, на высоте 4000 метров, на „крыше света". Он—один, предоставленный самому себе, избавлен от заразы величественного национального порыва, который увлекает Францию. Тем не менее, он не колеблется ни минуты. Все его социалистические и пацифистские теории, интересы его ученой работы, его личные выгоды тотчас же стушевываются перед образом родины в опасности. И он торопится [1]).

[1]) Роберт Готио умер в сентябре 1916 г. от последствий раны, полученной на войне; ему было 40 лет. Это был перворазрядный лингвист. Наука индо-европейских языков потеряла в нем самого блестящего наследника Бюрнуфа и Дармстетора.

Граф Коковцов, бывший председатель Совета и министр финансов, высокий патриотизм и ясный ум которого я так ценил, посещает меня в посольстве. Он приехал из своего имения, которое находится вблизи от Новгорода.

— Вы знаете,—говорит он мне,—что по характеру я не склонен к оптимизму. Тем не менее, у меня хорошее впечатление от войны; я, действительно, никогда не думал, что наша борьба с Германией может иначе начаться. Мы потерпели большие неудачи; но наши войска непоколебимы, наше моральное состояние превосходно. Через несколько месяцев мы будем в силах сокрушить нашего ужасного противника...

Затем он говорит со мной об условиях, которые мы должны будем предписать Германии, и он выражается с такой горячностью, которая меня изумляет у человека, обычно столь уравновешенного.

— Когда пробьет час мира, мы должны быть жестокими!... да, ж е с т о к и м и!... К тому же, мы будем к этому вынуждены национальным чувством. Вы не можете себе вообразить, до какой степени наши мужики раздражены против немцев.

— Ах, вот это интересно... Вы сами это констатировали?

— Не позже, чем третьего дня. Это было утром, в день моего от'езда, и я гулял по своему полю. Я замечаю очень старого к р е с т ь я н и н а, который давно потерял своего единственного сына, и чьи два внука находятся в армии. Сам, без всякого вопроса с моей стороны, он выражает мне свое опасение, что войну не будут продолжать до конца, не истребят окончательно немецкую породу, не вырвут с корнем из русской почвы плохую немецкую траву. Я поздравляю его с тем, что он

с таким патриотизмом принимает опасности, которым подвергаются два его внука, его единственная поддержка. Тогда он мне отвечает:

„Видишь ли, барин, если, к несчастью, мы не истребим немцев, они придут даже сюда; они будут править всей русской землей. И потом, они запрягут нас, тебя и меня, да, тебя тоже, в плуг“...

Вот что думают наши крестьяне.

— И они рассуждают совершенно правильно, по крайней мере в переносном смысле.

VI.

Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Среда, 30 сентября 1914 г.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы и вдова великого князя Сергея Александровича—странное существо, вся жизнь которого представляется рядом загадок.

Родившись в Дармштадте, 1-го ноября 1864 года, она распустилась уже прекрасным, очаровательным цветком, когда, двадцатилетней девушкой, вышла замуж за четвертого сына Александра II.

Мне вспоминается, как я обедал вместе с нею в Париже несколько лет спустя, около 1891 года. Я так и вижу ее, такой, какой она тогда была: высокой, строгой, со светлыми, глубокими и наивными глазами, с нежным ртом, мягкими чертами лица, прямым и тонким носом, с гармоническими и чистыми очертаниями фигуры, с чарующим ритмом походки и движений. В ее разговоре угадывался прелестный женский ум—естественный, серьезный и полный скрытой доброты.

Уже в то время она была окружена какой-то тайной. Некоторые особенности ее супружеской жизни не поддавались об'яснению.

Сергей Александрович был физически человек высокого роста, со стройным станом, но лицо его

было бездушно, и глаза, под белесыми бровями, смотрели жестоко. В моральном отношении он обладал суровым и деспотическим характером; ум его был ограничен, образование скудно, зато у него была довольно сильная художественная восприимчивость. Очень отличаясь от своих братьев—Владимира, Алексея и Павла—он жил замкнуто, ища одиночества, и слыл за странного человека.

Со времени женитьбы он стал еще менее понятен. Он показывал себя, действительно, самым подозрительным и ревнивым мужем, не допуская, чтоб его жена оставалась наедине с кем бы то ни было, не позволяя ей выезжать одной, наблюдая за ее перепиской и ее чтением, запрещая ей читать даже „Анну Каренину", из боязни, чтобы обаятельный роман не пробудил в ней опасного любопытства или слишком сильных переживаний. Кроме того, он постоянно ее критиковал в грубом и резком тоне; он делал ей порой, даже в обществе, оскорбительные замечания. Кроткая и послушная, она склонялась под жестокими словами. Честный и добродушный великан, Александр III, чувствовавший к ней жалость, расточал ей сначала самое любезное внимание; но скоро должен был воздержаться, заметив, что возбуждает ревность своего брата.

Однажды, после жестокой сцены со стороны великого князя, у старого князя Б., присутствовавшего при ней, вырвалось несколько слов сочувствия молодой женщине. Она возразила ему, удивленно и искренно: „Но меня нечего жалеть. Несмотря на все, что можно обо мне говорить, я счастлива, потому что очень любима".

Он действительно ее любил, но любил по-своему, любовью эгоистической и бурной, причудливой и двусмысленной, жадной и неполной...

В 1891 году великий князь Сергей Александрович был назначен московским генерал-губернатором.

То было время, когда знаменитый обер-прокурор св. синода, „русский Торквемада“ Победоносцев, всемогущий советник Александра III, пытался восстановить учение теократического самодержавия и вернуть Россию к византийским традициям Московского царства.

Между тем великая княгиня Елизавета Федоровна принадлежала по рождению к лютеранскому исповеданию. Новый генерал-губернатор не мог достойно явиться в Кремль с иноверной супругой. Он потребовал от жены, чтобы она отказалась от протестантизма и приняла русскую национальную веру. Уверяют, что и сама она к этому уже раньше склонялась. Как бы то ни было, она всей душой приняла догматы православной церкви; не бывало обращения более искреннего, более проникновенного, более безраздельного.

До этого времени холодные и сухие обряды протестантизма давали лишь очень жалкую пищу воображению и чувствам молодой женщины; опыт брачной жизни не был для нее благоприятнее. Все ее задатки мечтательности и чувствительности, веры и нежности, нашли себе вдруг применение в таинственных обрядах и великолепной пышности православия. Ее набожность развилась чудесным образом; она познала тогда такую душевную полноту и такие порывы, о которых раньше не подозревала.

В блеске своего генерал-губернаторства, равнявшегося власти вице-короля, Сергей Александрович явился вскоре передовым бойцом того реакционного крестового похода, к которому сводилась вся внутренняя политика „благочестивейшего государя“ Александра III. И при нем, от времени до времени

большие торжества—религиозные, политические или военные—привлекали к священному Кремлевскому холму взоры всего русского народа и всего славянства.

В этой деятельной и блестящей жизни Елизавета Федоровна имела свою роль. Она была любезной хозяйкой на великолепных приемах в Александровском дворце и в Ильинском; она усердно тратила средства на множество дел благочестия и милосердия, на школы и на искусства. Живописная обстановка и нравственная атмосфера Москвы глубоко действовали на ее восприимчивость. Ей раз'яснили однажды, что провиденциальной миссией царей является осуществление царства Божия на русской земле; мысль, что она, хотя бы и в малой части, содействует этой задаче, возбуждала ее воображение....

Между тем, ультра-реакционная политика, которой великий князь Сергей Александрович хвалился быть одним из главных творцов, вызывала как в среде интеллигенции, так и в народных массах всей России раздражение и отпор, с каждым днем выявлявшиеся все сильнее. Группа неустрашимых терерристов—Гершуни, Бурцев, Савинков, Азеф—основали „боевую организацию". Заговоры и покушения следовали быстро друг за другом, с ужасающей правильностью. И вот, 17-го февраля 1905 года, в три часа пополудни, в то время, когда великий князь Сергей Александрович проезжал в экипаже через Кремль и выехал на Сенатскую площадь, террорист Каляев бросил в него бомбу, которая, попав ему в грудь, разорвала его на куски.

Великая княгиня Елизавета Федоровна находилась, как нарочно, в Кремле, где она устраивала склад Красного Креста для Манчжурской армии. Услышав потрясающий грохот взрыва, она прибе-

жала так, как была, без шляпы, и упала на тело своего мужа, голова и руки которого лежали, оторванные, посреди обломков кареты. Потом, вернувшись в великокняжеский дворец, она погрузилась в горячую молитву.

В продолжении пяти дней, протекших до погребения, она не переставала молиться. Эта долгая молитва внушила ей странный поступок. Накануне похорон она вызвала градоначальника и велела ему немедленно повезти себя в Таганскую тюрьму, где содержался Каляев в ожидании военного суда.

Когда ее ввели в камеру убийцы, она спросила его: „Зачем вы убили моего мужа? Зачем вы отяготили вашу совесть таким ужасным преступлением?". Заключенный, встретивший ее сначала подозрительным, озлобленным взглядом, заметил, что она говорит с ним кротко и называет убитого не „великий князь", но „мой муж". „Я убил Сергея Александровича,—ответил он,—потому что был орудием тирании и притеснителем рабочих. А я—мститель за народ, как социалист и революционер". Она возразила с тою же кротостью: „Вы ошибаетесь. Мой муж любил народ и думал только об его благе. Поэтому ваше преступление не имеет оправдания. Не слушайтесь вашей гордости, и покайтесь. Если вы вступите на путь покаяния, я умолю государя даровать вам жизнь и буду молиться Богу, чтобы Он вас простил так же, как я сама уже вас простила". Столь же растроганный, сколь удивленный такой речью, он имел силу сказать ей: „Нет, я не раскаиваюсь. Я должен умереть за свое дело—и я умру".—„Если так, раз вы отнимаете у меня всякую возможность спасти вам жизнь, если вы несомненно скоро предстанете перед Богом, сделайте так, чтобы я могла, по крайне мере, спасти вашу душу. Вот Евангелие: обещайте мне внима-

тельно читать его до вашего смертного часа". Он отрицательно покачал головой; потом ответил: „Я буду читать Евангелие, если вы мне обещаете, в свою очередь, прочесть вот эти записки о моей жизни, которые я заканчиваю: они заставят вас понять, почему я убил Сергея Александровича". — „Нет, я не буду читать ваших записок... Мне остается только помолиться за вас". Она вышла из камеры, оставив Евангелие на столе.

Несмотря на неудачу, она написала императору, чтобы заранее получить помилование убийце. Но почти в то же время все общество узнало об ее посещении Таганской тюрьмы. Ходили самые странные, самые романические рассказы: все утверждали, что Каляев согласен просить о помиловании.

Несколько дней спустя, она получила от заключенного письмо приблизительно такого содержания: „Вы злоупотребили моим положением. Я не выказывал вам никакого раскаяния, потому что я его не чувствую. Если я согласился вас выслушать, то это потому только, что я в вас увидел несчастную вдову убитого мною человека. Я сжалился над вашим горем, и больше ничего. Об'яснение, которое дают нашему свиданию, меня бессчестит. Я не хочу помилования, о котором вы хлопочете для меня"...

Процесс его шел своим чередом. Следствие очень затянулось из-за напрасных розысков сообщников, из которых главным был Борис Савинков. В мае месяце Каляев был приговорен к смерти.

На другой день министр юстиции Манухин, делая доклад государю, спросил его, желает ли он смягчить приговор Каляеву, как его о том просила великая княгиня Елизавета Федоровна. Николай II промолчал, потом спросил небрежным тоном: „У вас больше ничего нет к докладу, Сергей Сергеевич?"... и отпустил его. Но затем тотчас же призвал дирек-

тора департамента полиции Коваленского и дал ему секретное приказание.

Каляев был тогда переведен из Москвы в Шлиссельбургскую крепость, знаменитую государственную тюрьму. 23-го мая, в 11 часов вечера, в камеру осужденного вошел главный военный прокурор Федоров, ведший следствие по его делу; он был еще по университету знаком с Каляевым. „Я уполномочен вам передать,—сказал он,—что если вы попросите о помиловании, его величество соизволит вам даровать его". Каляев ответил со спокойною твердостью: „Нет, я хочу умереть за свое дело". Федоров изо всех сил настаивал, в очень возвышенном и человечном тоне; Каляев плакал, но не сдавался. Наконец он сказал: „Если вы проявляете ко мне столько участия, позвольте мне написать моей матери".—„Хорошо!.. напишите ей. Я немедленно доставлю ваше письмо". Когда заключенный кончил писать, Федоров сделал последнее усилие, чтобы убедить его. Собрав все свои силы, но сохраняя полное спокойствие, Каляев торжественно заявил: „Я хочу и должен умереть. Моя смерть будет еще полезнее для моего дела, чем смерть Сергея Александровича". Прокурор понял, что он никогда не сможет сломить этой неукротимой воли; он вышел из камеры и приказал исполнить приговор.

Каляева в час ночи вывели на двор крепости. Он послушно подошел к виселице и, не произнеся ни слова, дал накинуть веревку себе на шею.

После этой мрачной трагедии, Елизавета Федоровна решила, что светская жизнь для нее кончена. Отныне ее занимали исключительно дела религии. Она всецело отдалась подвигам аскетизма и благочестия, покаяния и милосердия.

15 апреля 1910 года она осуществила проект, уже давно взлелеяный ею: она учредила женскую

общину, в которой сама сделалась настоятельницей. Обитель, названная Марфо-Мариинской, была устроена в Москве, в Замоскворечье. Монахини посвящают себя специально заботам о больных и бедных. Но и тогда, когда она уже отреклась таким образом от мирских дел, Елизавета Федоровна проявила последнюю заботу о женском изяществе: она заказала рисунок одежды для своей общины московскому художнику Нестерову. Одежда эта состоит из длинного платья тонкой шерстяной материи светло-серого цвета, из полотняного нагрудника, тесно окаймляющего лицо и шею, наконец, из длинного покрывала белой шерсти, падающего на грудь в широких священнических складках. Оно производит в общем впечатление строгое, простое и чарующее.

В отношениях великой княгини Елизаветы Федоровны с императрицей Александрой Федоровной не чувствуется сердечности. Основная причина, или, крайней мере, главный предлог их расхождения заключается в Распутине. В глазах Елизаветы Федоровны—Григорий не более, как похотливый и святотатственный обманщик, посланец сатаны. Между обеими сестрами происходили, по поводу его, частые пререкания, которые не раз ссорили их между собою; они больше о нем не говорят. Другим поводом их несогласия служит взаимное желание превзойти одна другую в подвигах аскетизма и благочестия; каждая считает себя выше другой в знании богословия, в выполнении евангельских правил, в размышлениях о вечной жизни, в поклонении Христу. Впрочем, великая княгиня лишь изредка и на короткое время появляется в Царском Селе.

Откуда явилось у великой княгини Елизаветы Федоровны и у ее сестры императрицы Александры

это удивительное преобладание мистических черт? Мне кажется, что оно унаследовано ими от их матери, принцессы Алисы, дочери королевы Виктории, бывшей замужем с 1862 года за наследным принцем Гессен-Дармштадтским, и умершей в 1878 году, в возрасте 35 лет.

Воспитанная в самом строгом англиканизме, принцесса Алиса испытала, вскоре после замужества, странного рода страсть, вполне духовную и интеллектуальную, к великому тюбингенскому богослову-рационалисту, знаменитому автору „Жизни Иисуса", Давиду Штраусу, умершему четырьмя годами раньше ея. Он тотчас же приобрел над ней большое влияние. Глубокая тайна окутывает еще этот роман двух умов и двух душ, но нельзя, тем не менее сомневаться, что он сильно смутил ее в ее верованиях, и что она пережила ужасные потрясения.

Ее дочери могли от нее унаследовать склонность к религиозной экзальтации. Быть может, нужно также видеть в них действие атавизма, гораздо более древнего, так как я нахожу, в числе их предков по женской линии, имена святой Елизаветы Венгерской и Марии Стюарт.

VII.

Мечта о Константинополе.

Четверг, 29 октября 1914 г.

Сегодня, в три часа утра, два турецких миноносца ворвались в одесский порт, потопили русскую канонерку и обстреляли французский пароход „Португалия“, причинив ему некоторые повреждения. После этого они удалились полным ходом, преследуемые русским миноносцем.

Сазонов принял известие с полным хладнокровием. Тотчас приняв распоряжения от императора, он сказал мне:

— Его величество решил не отвлекать ни одного человека с германского фронта. Прежде всего нам нужно победить Германию. Поражение Германии неизбежно повлечет за собою гибель Турции. Итак, мы ограничимся возможно меньшей завесой против нападений турецких армий и флота.

Впечатление в обществе очень велико.

Пятница, 30 октября 1914 г.

Русскому послу в Константинополе, Михаилу Гирсу, повелено требовать паспорта.

По просьбе Сазонова, три союзных правительства пытаются, тем не менее, вернуть Турцию к ней-

тралитету, настаивая на немедленном удалении всех германских офицеров, состоящих на службе в оттоманских армии и флоте.

Попытка, впрочем, не имеет никаких шансов на успех, так как турецкие крейсера бомбардировали только что Новороссийск и Феодосию. Эти нападения без об'явления войны, без предупреждения, этот ряд вызовов и оскорблений возбуждают до высочайшей степени гнев всего русского народа.

Воскресенье, 1 ноября 1914 г.

Так как Турция не пожелала отделиться от германских государств, послы России, Франции и Англии покинули Константинополь.

К западу от Вислы русские войска продолжают победоносно наступать по всему фронту.

Понедельник, 2 ноября 1914 г.

Император Николай обратился с манифестом к своему народу:

„...Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье... Вместе со всем народом русским мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря".

Я спрашиваю Сазонова, что значит эта последняя фраза, как будто извлеченная из сивиллиных книг.

— Мы будем принуждены, — отвечает он, — заставить Турцию дорого заплатить за ее теперешнее

затмение... Нам нужно получить прочные гарантии по отношению к Босфору. Что касается Константинополя, то я лично не желал бы изгнания из него турок. Я бы ограничился тем, что оставил бы им старый византийский город с большим огородом вокруг. Но не более.

Вторник, 10 ноября 1914 г.

Нападение турок нашло отклик в самых глубинах русского сознания.

Естественно, что взрыв изумления и негодования нигде не был сильнее, чем в Москве, священной метрополии православного национализма. В опьяняющей атмосфере Кремля вдруг пробудились вновь все романтические утопии славянофильства. Как во времена Аксаковых, Киреевского, Каткова, идея провиденциальной мировой миссии России возбуждает в эти дни умы москвичей.

VIII.

Мысли императора о будущем мире.

Суббота, 21 ноября 1914 г.

Сегодня утром Сазонов сказал мне: „Государь примет вас в четыре часа. Официально он ничего не имеет вам заявить, но желает побеседовать с вами с полною свободой и откровенностью. Предупреждаю вас, что аудиенция будет долгая".

В 3 ч. 10 м. я отправляюсь экстренным поездом в Царское Село. Снег падает крупными хлопьями. Под бледным светом, ниспадающим с неба, широкая равнина, окружающая Петроград, расстилается— белесоватая, туманная и печальная. Сердце сжимается при мысли о том, что на равнинах Польши, в эти самые минуты, тысячи людей погибают, тысячи раненых медленно умирают.

Аудиенция носит совершенно частный характер, но тем не менее я должен быть в полной парадной форме, как это подобает, когда являешься к царю, самодержцу всея России. Меня сопровождает церемонийместер Евреинов, также весь расшитый золотом.

Расстояние от станции до Александровского дворца в Царском Селе невелико— меньше версты. На пустой площади перед парком маленькая церковь в древне-русском стиле вздымает над снегом

свои прелестные купола; это — одна из любимых молелен императрицы.

Александровский дворец предстает предо мной в самом будничном виде: церемониал сведен к минимуму. Мою свиту составляют только Евреинов, камер-фурьер в обыкновенной форме и скороход в живописном костюме времен императрицы Елизаветы, в шапочке, украшенной красными, черными и желтыми перьями. Меня ведут через парадные гостиные, через личную гостиную императрицы, дальше— по длинному корридору, на который выходят личные покои государей; в нем я встречаюсь с лакеем, в очень простой ливрее, несущим чайный поднос. Далее открывается маленькая внутренняя лестница, ведущая в комнаты августейших детей; по ней убегает в верхний этаж камеристка. В конце корридора находится последняя гостиная, комната дежурного флигель-ад'ютанта, князя П. Мещерского. Я ожидаю здесь около минуты. Арап в пестрой одежде, несущий дежурство у дверей кабинета его величества, почти тотчас открывает дверь.

Император меня встречает со свойственной ему приветливостью, радушно и немного застенчиво.

Комната, где происходит прием, очень небольших размеров, в одно окно. Меблировка покойная и скромная; кресла темной кожи, диван, покрытый персидским ковром, письменный стол с ящичками, выравненными с тщательной аккуратностью, другой стол, заваленный картами, книжный шкаф, на котором портреты, бюсты, семейные памятки.

Император, по своему обыкновению, запинается на первых фразах—при словах вежливости и личного внимания; но скоро он говорит уже тверже:

— Прежде всего, сядемте и устроимся поудобнее, потому что я вас задержу надолго. Возьмите это кресло, пожалуйста. С этим столиком между

нами будет еще лучше. Вот папиросы; они — турецкие; я бы не должен был их курить, тем более, что они мне подарены моим новым врагом—султаном; но они превосходны, да у меня и нет других... Позвольте мне еще взять карту... И теперь поговорим.

Зажегши папиросу и предложив мне огня, он сразу приступает к делу:

— За эти три месяца, что я вас не видал, совершились великие события. Чудесные французские войска и моя дорогая армия дали такие доказательства своей доблести, что победа уже не может от нас ускользнуть. Конечно, я не строю себе никаких иллюзий относительно тех испытаний и жертв, которых еще потребует от нас война. Но уже сейчас мы имеем право, мы даже обязаны посоветоваться друг с другом о том, что бы мы стали делать, если бы Австрия и Германия запросили у нас мира. Заметьте, что, действительно, для Германии была бы очень выгодно вступить в переговоры, пока военная сила еще грозна. Что же касается Австрии, то разве она уже не истощена вконец? Итак, что же мы стали бы делать, если бы Германия и Австрия запросили у нас мира?

— Вопрос первостепенной важности,—сказал я,— это—знать, сможем ли мы договариваться о мире, и не явится ли необходимым диктовать его нашим врагам. Какова бы ни была наша умеренность, мы, очевидно, должны будем потребовать у центральных империй таких гарантий и таких возмещений, на которые они никогда не согласятся, если только не будут принуждены просить пощады.

— Это и мое убеждение. Мы должны будем диктовать мир, и я решил продолжать войну, пока германские державы не будут раздавлены. Но я решительно настаиваю, чтобы условия этого мира

были выработаны нами тремя—Францей, Англией и Россией, только нами одними. Следовательно, не нужно конгрессов, не нужно посредничеств. Позже, когда настанет час, мы продиктуем Германии и Австрии нашу волю.

— Как, ваше величество, представляете вы себе общие основания мира?

После минутного раздумья, император отвечает:

— Самое главное, что мы должны установить, это—уничтожение германского милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия нас держит вот уже больше сорока лет. Нужно отнять у германского народа всякую возможность реванша. Если мы дадим себя разжалобить—это будет новая война через немного времени. Что же касается до точных условий мира, то я спешу вам сказать, что одобряю заранее все, что Франция и Англия сочтут нужным потребовать в их собственных интересах.

— Я благодарен вашему величеству за это заявление и уверен со своей стороны, что правительство Республики встретит самым сочувственным образом желания императорского правительства.

— Это меня побуждает сообщить вам мою мысль целиком. Но я буду говорить только лично за себя, потому что не хочу решать таких вопросов, не выслушав совета моих министров и генералов.

Он придвигает свое кресло ближе к моему, раскладывает карту Европы на столике между нами, зажигает новую папироску и продолжает еще более интимным и свободным тоном:

— Вот как, приблизительно, я представляю себе результаты, которых Россия вправе ожидать от войны и без которых мой народ не понял бы тех трудов, которые я заставил его понести. Германия должна будет согласиться на исправление границ

в Восточной Пруссии. Мой генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление достигло берегов Вислы; это кажется мне чрезмерным; я посмотрю. Познань и, быть может, часть Силезии будут необходимы для воссоздания Польши. Галиция и северная часть Буковины позволят России достигнуть своих естественных пределов—Карпат... В Малой Азии, я должен буду, естественно, заняться армянами; нельзя будет, конечно, оставить их под турецким игом. Должен ли я буду присоединить Армению? Я присоединю ее только по особой просьбе армян. Если нет—я устрою для них самостоятельное правительство. Наконец, я должен буду обеспечить моей империи свободный выход через проливы.

Так как он приостанавливается на этих словах, я прошу его об'ясниться. Он продолжает:

— Мысли мои еще далеко не установились. Ведь вопрос так важен... Существуют все же два вывода, к которым я всегда возвращаюсь. Первый, что турки должны быть изгнаны из Европы; второй—что Константинополь должен отныне стать нейтральным городом, под международным управлением. Само собою разумеется, что магометане получили бы полную гарантию уважения к их святыням и могилам. Северная Фракия, до линии Энос—Мидия, была бы присоединена к Болгарии. Остальное, от этой линии до берега моря, исключая окрестностей Константинополя, было бы отдано России.

— Итак, если я правильно понимаю вашу мысль, турки были бы заперты в Малой Азии, как во времена первых Османидов, со столицей в Ангоре или в Конии. Босфор, Мраморное море и Дарданеллы составили бы западную границу Турции.

— Именно так.

— Ваше величество не удивится, если я еще прерву его, чтобы напомнить, что Франция обла-

дает в Сирии и в Палестине драгоценным наследием исторических воспоминаний, духовных и материальных интересов. Полагаю, что ваше величество согласились бы на мероприятия, которые правительство Республики сочло бы необходимыми для охранения этого наследия.

— Да, конечно.

Затем, развернув карту Балканского полуострова, он в общих чертах излагает мне, каких территориальных изменений мы, по его соображениям, должны желать на Балканах:

— Сербия присоединила бы Боснию, Герцеговину, Далмацию и северную часть Албании. Греция получила бы южную Албанию, кроме Валлоны, которая была бы предоставлена Италии. Болгария, если она будет разумна, получит от Сербии компенсацию в Македонии.

Он тщательно складывает карту Балканского полуострова и кладет ее с такою же аккуратностью, как раз на то же место на письменном столе, где она лежала раньше. Затем, скрестив руки и даже откинувшись в своем кресле и подняв глаза в потолок, он спрашивает меня мечтательным голосом:

— А Австро-Венгрия? Что будет с нею?

— Если победы ваших войск разовьются по ту сторону Карпат, если Италия и Румыния выступят на сцену, Австро-Венгрия с трудом перенесет те территориальные уступки, на которые принужден будет согласиться император Франц-Иосиф. Австро-венгерский союз потерпел крах, и я думаю, что союзники уже не захотят более работать совместно, по крайней мере, на тех же условиях.

— Я также это думаю... Венгрии, лишенной Трансильвании, было бы трудно удерживать хорватов под своею властью. Чехия потребует по крайней мере автономии — и Австрия, таким образом, све-

дется к старым наследственным владениям, к Немецкому Тиролю и к Зальцбургской области.

После этих слов он на мгновение замолкает, наморщив брови, полузакрыв глаза, как будто повторяя про себя то, что собирался мне сказать. Наконец, он бросает беглый взгляд на портрет своего отца, висящий сзади меня, и продолжает:

— Большие перемены произойдут, в особенности, в самой Германии. Как я вам сказал, Россия возьмет себе прежние польские земли и часть Восточной Пруссии. Франция возвратит Эльзас-Лотарингию и распространится, быть может, и на рейнские провинции. Бельгия должна получить, в области Ахена, важное приращение своей территории: ведь она так это заслужила. Что касается до германских колоний, Франция и Англия разделят их между собою по желанию. Я хотел бы, наконец, чтобы Шлезвиг, включая район Кильского канала, был возвращен Дании. А Ганновер? Не следовало ли бы его воссоздать? Поставив маленькое свободное государство между Пруссией и Голландией, мы бы очень укрепили будущий мир. Наше дело будет оправдано перед Богом и перед историей, только если им руководит великая идея, желание обеспечить на очень долгое время мир всего мира.

Произнося последнюю фразу, он выпрямился на своем кресле; его голос дрожит от торжественного религиозного волнения; особенный блеск освещает его взгляд. Очевидно, и его совесть, и его вера затронуты. Но ни в осанке его, ни в выражении голоса—ни малейшей позы: напротив, полная простота.

— Так, значит,—говорю я,—это конец германской империи.

Он отвечает твердым голосом:

— Германия устроится, как ей угодно, но императорское достоинство не может быть сохранено

за домом Гогенцоллернов. Пруссия должна стать снова простым королевством. Не так ли, дорогой мой посол?

— Германская империя в том виде, в каком ее задумали, основали и как ей управляли Гогенцоллерны, столь явно направлена против французского народа, что я, конечно, не буду выступать на ее защиту. Было бы большим облегчением для Франции, если бы силы германского мира не были сосредоточены в руках Пруссии...

Вот уже больше часа, как продолжается собеседование. После короткого раздумья и как бы сделав усилие памяти, император говорит мне:

— Мы должны думать не только о непосредственных результатах войны; мы должны заботиться также и о завтрашнем дне. Я приписываю большое значение поддержанию нашего союза. Дело, которое мы желаем совершить и которое уже стоило нам стольких усилий, будет прочно и длительно только в том случае, если мы останемся сплоченными. А раз мы сознаем, что работаем для мира всего мира, нужно, чтобы наше дело было прочно.

В то время, как он высказывает это необходимое и очевидное заключение нашего длинного диалога, я вновь вижу в его глазах тот мистический блеск, который освещал их несколько минут тому назад. Его прадед Александр I должен был иметь то же глубоко верующее и просветленное выражение, когда проповедывал Меттерниху и Гарденбергу священный союз царей против народов. Но у друга г-жи Крюденер было много театральной аффектации и какая-то романтическая приподнятость. У Николая II-го, напротив, искренность полная: он старается скорее скрыть свое волнение, чем обнаружить его, скорее затушеваться, чем выставлять себя на-показ.

Император встает, предлагает мне еще папиросу и непринужденно говорит самым дружеским тоном:

— Ах, дорогой мой посол, у нас будут великие общие воспоминания. Помните ли вы...

И он напоминает мне начало войны, предшествовавшую ей тревожную неделю с 25 июля по 2 августа; он восстановляет малейшие подробности; особенно охотно он вспоминает те личные телеграммы, которыми он обменялся с императором Вильгельмом.

— Ни одного мгновения он не был искренен. В конце концов он сам запутался в своей лжи и коварстве... Так, могли ли бы вы когда-нибудь об'яснить себе телеграмму, которую он мне послал через шесть часов после того, как мне было от него передано об'явление войны? То, что произошло, на самом деле непонятно. Не знаю, рассказывал ли я вам об этом... Была половина второго ночи на 2 августа. Я только что принял вашего английского коллегу, который принес мне телеграмму короля Георга, умолявшего меня сделать все возможное для спасения мира; я составил, с сэром Джорджем Бьюкененом, известный вам ответ, заканчивавшийся призывом к вооруженной помощи Англии—поскольку война была уже навязана нам Германией. По от'езде Бьюкенена, я отправился в комнату императрицы, уже бывшей в постели, чтобы показать ей телеграмму короля Георга и выпить чашку чая перед тем, как ложиться самому. Я оставался около нее до 2-х часов ночи. Затем, чувствуя себя очень усталым, я захотел принять ванну. Только что я собрался войти в воду, как мой камердинер постучался в дверь, говоря, что должен передать мне телеграмму: „Очень спешная телеграмма, очень спешная... Телеграмма от его величества императора Виль-

гельма". Я читаю и перечитываю телеграмму, я повторяю ее себе вслух—и ничего не могу в ней понять. Как — Вильгельм думает, что еще от меня зависит избежать войны?... Он заклинает меня не позволять моим войскам переходить границу... Уж не сошел ли я с ума? Разве министр Двора, мой старый Фредерикс, не принес мне, меньше шести часов тому назад, об'явление войны, которое германский посол только что передал Сазонову? Я вернулся в комнату императрицы и прочел ей телеграмму Вильгельма. Она захотела сама ее прочесть, чтобы удостовериться. И тотчас сказала мне: „Ты, конечно, не будешь на нее отвечать?" — Конечно, нет... Эта невероятная, безумная телеграмма имела целью, конечно, меня поколебать, сбить с толку, увлечь на какой-нибудь смешной и бесчестный шаг. Случилось как раз напротив. Выходя из комнаты императрицы, я почувствовал, что между мною и Вильгельмом все кончено и навсегда. Я крепко спал... Когда я проснулся в обычное время, я почувствовал огромное облегчение. Ответственность моя перед Богом и перед моим народом была попрежнему велика. Но я знал, что мне нужно делать.

— Я, ваше величество, об'ясняю себе несколько иначе телеграмму императора Вильгельма.

— А, посмотрим ваше об'яснение.

— Император Вильгельм не очень храбр?

— О, нет!

— Это комедиант и хвастун. Он никогда не смеет довести до конца своих жестов. Он часто напоминал мне актера из мелодрамы, который, играя роль убийцы, вдруг бы увидел, что его оружие заряжено и что он на самом деле убьет свою жертву. Сколько раз мы видели, как он сам пугался своей пантомимы. Рискнув на свою знамени-

тую манифестацию в Танжере в 1905 г., он вдруг остановился на середине разыгрываемой сцены. Я поэтому предполагаю, что как только он отправил свое об'явление войны, его охватил страх. Он представил себе реально все ужасные последствия своего поступка, и захотел отбросить на вас всю ответственность за него. Может быть даже, он уцепился за нелепую надежду, что его телеграмма вызовет какое-то событие — неожиданное, непонятное, чудесное,—которое вновь позволит ему избежать последствий своего преступления.

— Да, такое об'яснение довольно хорошо согласуется с характером Вильгельма.

В эту минуту часы бьют шесть часов.

— О, как поздно,—замечает император.—Боюсь, что я вас утомил. Но я был счастлив, имея возможность свободно высказаться перед вами.

Пока он провожает меня до дверей, я спрашиваю его о боях в Польше.

— Это — большое сражение,—говорит он, — и крайне ожесточенное. Германцы делают бешеные усилия, чтобы прорваться через наш фронт. Это им не удастся. Они не смогут долго удержаться на своих позициях. Таким образом, я надеюсь, что в скором времени мы вновь перейдем в наступление.

— Генерал Лагиш мне писал недавно, что великий князь Николай Николаевич попрежнему ставит себе единственной задачей — поход на Берлин.

— Да, я еще не знаю, где мы сможем пробить себе дорогу. Будет ли это между Карпатами и Одером, или между Бреславлем и Познанью, или на север от Познани? Это будет весьма зависеть от боев, завязавшихся теперь вокруг Лодзи и в районе Кракова. Но Берлин, конечно, наша единственная цель... И с вашей стороны борьба имеет не

менее ожесточенный характер. Яростная битва на Изере склоняется в вашу пользу. Ваши моряки покрыли себя славой. Это большая неудача для немцев, почти столь же важная, как поражение на Марне... Ну, прощайте, мой дорогой посол! Повторяю, я был счастлив так свободно переговорить с вами...

IX.

Припадок пессимизма: снарядный кризис.

Среда, 9 декабря 1914 г.

Неуверенность, царящая относительно военных операций в Польше, слишком оправдавшееся предчувствие огромных потерь, понесенных русской армией под Брезинами [1]), наконец, оставление Лодзи— все это поддерживает в обществе тяжелое и печальное настроение. Всюду я встречаю людей, находящихся в подавленном состоянии духа.

Эта подавленность проявляется не только в салонах и в клубах, но и в учреждениях, в магазинах, на улицах.

Сегодня я зашел к одному антиквару на Литейном. После нескольких минут разговора, он спросил меня с расстроенным видом:

— Ах, ваше превосходительство, когда же кончится эта война? Правда ли, что мы потеряли под Лодзью миллион убитыми и ранеными?

— Миллион! Кто вам сказал это? Ваши потери значительны; но я вас уверяю, что они далеко не

[1]) Битва под Брезинами, завязавшаяся 23 ноября, казалось, должна была повлечь за собою для немцев полное поражение: три их корпуса были окружены. Все плоды успеха были в последний момент потеряны русскими, вследствие недостаточной связи между штабами (Прим. автора).

достигают такой цифры... У вас есть родственники в армии?

— Слава Богу, нет. Но эта война слишком долго тянется, и слишком ужасна. И потом, мы никогда не разобьем немцев. Тогда отчего бы не покончить с этим сразу?

Я успокаиваю его, как могу; я указываю ему, что если мы будем стойко держаться, то, конечно, победим. Он слушает меня скептически и печально. Когда я смолкаю, он говорит:

— Вы, французы, быть может, и будете победителями. Мы, русские — нет. Партия проиграна... Тогда зачем же истреблять столько людей? Не лучше ли кончить теперь же?

И сколько русских должны сейчас чувствовать так же! Странная психология этого народа, способного на самые благородные жертвы, но, взамен, так быстро поддающегося унынию и отчаянию, заранее принимающего все самое худшее.

Вернувшись в посольство, я застаю там старого барона Г., игравшего политическую роль лет десять назад, но с тех пор посвятившего себя безделью и светской болтовне. Он говорит со мной о военных событиях.

— Дела идут очень плохо... Не может быть больше иллюзий... Великий князь Николай Николаевич бездарен. Сражение под Лодзью — какое безумие, какое несчастье!.. Наши потери: более миллиона человек... Мы никогда не сможем взять верх над немцами... Надо думать о мире.

Я возражаю, что три союзные державы обязаны продолжать войну до полной победы над Германией, потому что дело идет не более и не менее, как об их независимости и их национальной целости; я прибавляю, что унизительный мир неизбежно вызвал бы в России революцию, — и какую рево-

люцию! В заключение я говорю, что имею, впрочем, полную уверенность в верности императора общему делу.

Г. отвечает тихо, как если бы кто-нибудь мог нас услышать:

— О, император... император...

Он останавливается. Я настаиваю:

— Что вы хотите сказать? Кончайте.

Он продолжает с большим стеснением, так как он вступает на опасную почву:

— Теперь император взбешен на Германию; но скоро поймет, что ведет Россию к гибели... Его заставят это понять... Я отсюда слышу, как этот негодяй Распутин ему говорит: „Ну, что же, долго ты еще будешь проливать кровь твоего народа? Разве ты не видишь, что Господь оставляет тебя?"... В тот день, господин посол, мир будет близок.

Я прерываю тогда разговор сухим тоном:

— Это — глупая болтовня... Император клялся на Евангелии и перед иконой Казанской Божьей Матери, что он не подпишет мира, пока останется хоть один вражеский солдат на русской земле. Вы никогда не заставите меня поверить, что он может не сдержать подобной клятвы. Не забывайте, что в тот день, когда он ее давал, эту клятву, он захотел, чтобы я был около него, дабы стать свидетелем и порукой того, в чем он клялся перед Богом. После этого, он будет непоколебим. Он скорее пошел бы на смерть, чем изменил бы своему слову...

Четверг, 17 декабря 1914 г.

Великий князь Николай „с горем" извещает меня о том, что он принужден приостановить свои операции: он мотивирует это решение чрезмерными потерями, которые понесли его войска, и тем, еще

более значительным фактом, что артиллерия израсходовала все свои запасы снарядов.

Я жалуюсь Сазонову на положение, которое мне, таким образом, открылось; я изъяснясь в довольно резком тоне:

— Генерал Сухомлинов,—говорю я,—двадцать раз заявлял мне, что приняты меры к тому, чтобы русская артиллерия всегда была обильно снабжена снарядами... Я настойчиво указывал ему на громадный расход, который стал нормальным оброком сражений. Он уверял меня, что он сделал все возможное с целью удовлетворить всем требованиям, всем случайностям. Я даже получил от него письменное свидетельство об этом... Я прошу вас доложить от меня об этом императору.

— Я не премину передать его величеству то, что вы мне сказали.

Мы ограничиваемся этим. Чувства, которые внушает Сазонову характер Сухомлинова, гарантируют мне, что он извлечает всю возможную пользу из моей жалобы.

Понедельник, 18 декабря 1914 г.

Вчера я узнал, что русская артиллерия нуждается в снарядах; сегодня утром я узнаю, что пехота нуждается в ружьях.

Я отправляюсь тотчас же к генералу Беляеву, начальнику главного управления генерального штаба, и прошу у него точных сведений.

Очень трудолюбивый, олицетворение чести и совести, он заявляет мне:

— Наши потери в людях были колоссальны. Если бы мы должны были только пополнять наличный состав, мы бы быстро его заместили, так у нас в запасе есть более 900.000 человек. Но нам не хватает ружей, чтобы вооружить и обучить этих

людей... Наши кладовые почти пусты. С целью устранить этот недостаток, мы купили в Японии и в Америке миллион ружей, и мы надеемся достичь того, что будем на наших заводах выделывать их по сто тысяч в месяц. Может быть, Франция и Англия также смогут уступить нам несколько сот тысяч... Что же касается артиллерийских снарядов, наше положение не менее тяжелое. Расход превзошел все наши рассчеты, все наши предположения. В начале войны мы имели в наших арсеналах 5.200.000 трех-дюймовых шрапнелей. Все наши запасы истощены. Армии нуждались бы в 45.000 снарядах в день. А наше ежедневное производство достигает самое большое 13.000; мы рассчитываем, что оно к 15 февраля достигнет 20.000. До этого дня положение наших армий будет не только трудным, но и опасным. В марте начнут прибывать заказы, которые мы сделали заграницей; я полагаю, что таким образом, мы будем иметь 27.000 снарядов в день к 15 апреля и что с 15 мая мы будем их иметь по 40.000... Вот, господин посол, все, что я могу вам сказать. Я ничего не скрыл от вас.

Я благодарю его за откровенность, делаю несколько записей и уезжаю.

Суббота, 19 декабря 1914 г.

Сегодня день именин императора. В Казанском соборе совершают торжественный молебен. Все сановники двора, министры, высшие должностные лица, дипломатический корпус там присутствуют в парадных мундирах. Публика теснится в глубине храма, между двумя величественными рядами колонн, соединенных по две.

В конце службы я вижу председателя Совета министров Горемыкина и, увлекая его за одну из

колонн, говорю ему относительно недостаточности военной помощи, которую Россия вносит в наше общее дело. Бьюкенен и Сазонов, которые слышат меня, присоединяются к разговору. Своей медленной и скептической речью Горемыкин пытается защитить Сухомлинова:

— Но во Франции и в Англии запасы также приходят к концу. И однако же, насколько ваша промышленность богаче нашей, насколько более усовершенствованы ваши машины. К тому же, разве можно было предвидеть подобную трату снарядов?

Я возражаю: я не упрекаю генерала Сухомлинова в том, что он не предвидел перед войной, что каждое сражение будет оргией боевых запасов; я так же мало упрекаю его в медленности, объясняемой состоянием вашей промышленности; я упрекаю его в том, что он в течение трех месяцев ничего не сделал с целью отвратить нынешний кризис, на который я указал ему по поручению генерала Жоффра.

Горемыкин протестует для вида, в уклончивых словах и с ленивыми движениями. Бьюкенен энергично меня поддерживает. Сазонов своим молчанием выражает согласие. Как странен этот разговор между союзниками в церкви, куда фельдмаршал, князь Кутузов, приезжал молиться перед отъездом на войну 1812 года, в двух шагах от его могилы и перед трофеями, оставленными французами во время отступления из России!

Воскресенье, 20 декабря 1914 г.

До меня доходит с разных сторон, что в интеллигентской и либеральной среде высказываются по отношению к Франции с таким же недоброжелательством, как и несправедливостью,

Уже четыре или пять раз со времени конца царствования Екатерины Великой Россия проходила через кризизы галлофобии. Периодически французские идеи, моды, обычаи не нравились русским. Последний кризис, в связи с которым находятся нынешние симпатии, свирепствовал только среди интеллигенции, которая не прощает нам того, что мы оказали финансовую помощь царизму и таким образом укрепили самодержавный режим.

Теперь к неудовольствиям по поводу финансовых займов присоединяют глупое обвинение: это Франция вовлекла Россию в войну, чтобы заставить вернуть себе Эльзас и Лотарингию ценою русской крови. Я, как могу, противодействую этому направлению; но моя деятельность по необходимости ограничена и секретна. Если я слишком обнаружу мои отношения с либеральной средой, я покажусь подозрительным правительственной партии и императору; к тому же я даю ужасное орудие в руки реакционеров крайней правой, соумышленников императрицы, которые проповедуют, что союз с республиканской Францией представляет собою смертельную опасность для православного царизма, и что спасение может придти только от примирения с германским „кайзерством".

Понедельник, 21 декабря 1914 г.

В то время, как я делаю визит г-же Горемыкиной, старой даме, приветливой и симпатичной под ее короной из седых волос, ее муж приходит выпить с нами чаю.

Я говорю ему тоном дружеского упрека:

— Третьего дня, в Казанском соборе, мне показалось, что вы смотрите со спокойной душой на трудности в военном положении.

Он отвечает мне слабым и шутливым голосом:

— Что же вы хотите... Я так стар. Уж так давно следовало бы положить меня в гроб. Я говорил это еще на этих днях императору. Но его величеству не было угодно меня выслушать... Может быть, наконец, лучше, чтобы это было так. В моем возрасте не стремятся менять более, чем нужно, порядок вещей.

На прусском, польском и галицийском фронтах настроены менее скептично. Несмотря на недостаток их вооружения, войска сражаются с неутомимой энергией. В течение последних шести недель они потеряли 570.000 человек, из которых 310.000— против немцев.

Вторник, 22 декабря 1914 г.

В течение последних десяти дней в публике знают, что военные действия приостановлены и, за неимением оффициальных сведений, считают положение еще хуже, чем оно есть. Поэтому ставка решила сегодня опубликовать следующее сообщение:

„... Переход наших армий на более сокращенный фронт является результатом свободного решения соответствующего начальства и представляется естественным в виду сосредоточения против нас германцами весьма значительных сил; кроме того, принятым решением достигаются и другие преимущества, о коих, по военным соображениям, к сожалению, не представляется пока возможным дать разъяснения обществу".

Четверг, 24 декабря 1914 г.

Генерал Лагиш подтверждает мне из Барановичей показания генерала Беляева: приостановление русских операций вызвано не значительностью гер-

манских сил, а недостатком артиллерийских запасов и ружей. Великий князь Николай Николаевич в отчаянии и старается, насколько возможно, устранить это серьезное положение. Уже, вследствие строгих приказов, возможно располагать несколькими тысячами ружей. Производство национальных заводов будет усилено. Что же касается военных действий, они будут продолжаться в пределах, какие только будут возможны. Целью их остается вступление на германскую территорию.

Суббота, 26 декабря 1914 г.

Возвращаясь с Кавказа, император остановился в Москве. Ему была устроена самая горячая встреча; он, таким образом, мог констатировать превосходное настроение, которым воодушевлены московский народ и общество. Все газеты города воспользовались этим случаем, дабы провозгласить, что война должна продолжаться до поражения германизма; некоторые очень удачно предусматривали, что для достижения этого результата недостаточно „пламени энтузиазма", что необходима еще упорная воля, непоколебимое терпение и согласие на громадные жертвы. Император несколько раз повторял своим приближенным:

— Здесь я, действительно, чувствую себя среди моего народа. Воздух здесь так же чист и живителен, как на фронте.

Воскресенье, 27 декабря 1914 г.

Все лица, которые приближались к императору в Москве, говорили ему о Константинополе и все высказались одинаково: „Приобретение проливов представляет собою для империи жизненный инте-

рес и превосходит все территориальные выгоды, которые Россия могла бы получить в ущерб Германии или Австрии... Об'явление Босфора и Дарданелл нейтральными было бы решением неполным, не настоящим, чреватым опасностями в будущем... Константинополь должен быть русским городом... Черное море должно стать русским озером"...

Французский фабрикант, который приехал из Харькова и Одессы, передает мне, что там иначе не говорят. Но в то время, как в Москве преобладает точка зрения историческая, политическая, мистическая, в южной России господствуют коммерческие соображения: это хлеб чернозема и уголь Донецкого бассейна подсказывают стремление к Средиземному морю.

Понедельник, 28 декабря 1914 г.

В русском общественном мнении все более вырисовываются два течения: одно—уносящееся к светлым горизонтам, к волшебным победам, к Константинополю, к Фракии, Армении, Трапезунду, к Персии..., другое—останавливающееся перед непреодолимым препятствием германской скалы и возвращающееся к мрачным перспективам, достигая пессимизма, чувства безсилия и покорности Провидению.

Что чрезвычайно любопытно, это—то, что оба течения часто сосуществуют или, по крайней мере, сменяются у одного и того же лица, как если бы они оба удовлетворяли двум наиболее заметным склонностям русской души: к мечте и разочарованию.

Вторник, 29 декабря 1914 г.

Какая странная особа Анна Александровна Вырубова! У нее нет никакого официального звания, она не исправляет никаких обязанностей, она не

получает никакого жалованья, она не появляется ни на каких церемониях. Это упорное удаление от света, это полное бескорыстие создают всю ее силу у монархов, постоянно осаждаемых попрошайками и честолюбцами.

Дочь управляющего собственной его величества канцелярией Танеева, она почти не имеет личных средств. И императрица только с большим трудом может заставить ее принять, от времени до времени, какую-нибудь драгоценную вещь, не обладающую, однако, особенной стоимостью, какое-нибудь платье или манто.

Физически она неповоротлива, с круглой головой, с мясистыми губами, с глазами светлыми и лишенными выражения, полная, с ярким цветом лица; ей тридцать два года. Она одевается с совершенно провинциальной простотой. Очень набожная, не умная. Я встречал ее два раза у ее матери, г-жи Танеевой, урожденной Толстой, которая представляет собою образованную и изящную женщину. Мы все трое долго беседовали. Анна Александровна показалась мне умственно ограниченной и лишенной грации.

Молодой девушкой она была фрейлиной императрицы, которая выдала ее замуж за морского офицера, лейтенанта Вырубова. После нескольких дней брака — развод. Теперь г-жа Вырубова живет в Царском Селе в очень скромной даче, расположенной на углу Средней и Церковной улиц, в двух стах метрах от императорского дворца. Несмотря на строгость этикета, императрица часто делает долгие визиты своему другу. Кроме того, она устроила ей в самом дворце комнату для отдыха. Таким образом, обе женщины почти не покидают друг друга. В частности, Вырубова регулярно проводит вечера с монархами и их детьми. Никто

другой никогда не проникает в этот семейный круг; там играют в шашки; раскладывают пасьянсы, занимаются немного музыкой, читают вслух очень добродетельные романы, преимущественно английские.

Как определить г-жу Вырубову? Какова тайная побудительная причина ее поведения? Какую цель, какие мечты она преследует? Качества, которые, как я слышу, чаще всего ей приписывают, это— качества интригантки. Но что же это за интригантка, которая пренебрегает почестями, которая отвергает подарки... Чтобы об'яснить себе ее положение и ее роль в императорском дворце, может быть, было бы достаточно сослаться на ее личную привязанность к императрице, привязанность нисшего и раболепного создания к государыне, всегда больной, подавленной своим могуществом, осаждаемой страхом, чувствующей, что над нею тяготеет ужасный рок.

Четверг, 31 декабря 1914 года.

Через час окончится 1914 год.

Печать изгнания...

С тех пор, как эта война потрясла мир, события уже столько раз противоречили самым разумным рассчетам и опровергали самые мудрые предвидения, что никто больше не осмеливается выступать в роли пророка иначе, как в границах близких горизонтов и непосредственных возможностей.

Однако же, сегодня днем я имел долгий и откровенный разговор со швейцарским посланником, во время которого обмен нашими сведениями, встреча наших мыслей, разница в наших точках зрения немного расширили мои перспективы. У него ясный, точный ум, соединяющийся с большим опытом, и острое чувство действительности. Наше заключение

было таково, что Германия впала в тяжелое заблуждение, думая, что война кончится быстро; что борьба будет очень долгой, очень длительной и что окончательная победа достанется наиболее упорному. Война становится войной на истощение и, увы, неизбежно,—на истощение полное: истощение пищевых запасов, истощение орудий и инструментов для промышленного производства, истощение человеческого материала, истощение моральных сил. И ясно, что именно эти последние получают решающее значение в последний час.

Среда, 6 января 1915 года.

Русские нанесли поражение туркам вблизи Сары-Камыша, на дороге из Карса в Эрзерум. Этот успех тем более похвален, что наступление наших союзников началось в гористой стране, такой же возвышенной, как Альпы, изрезанной пропастями и перевалами, которые часто превышают 2500 метров высоты; теперь там ужасный холод и постоянные снежные бури. К тому же—никаких дорог, и весь край опустошен. Кавказская армия совершает там каждый день изумительные подвиги.

X.

Патриотизм императрицы.

Четверг, 7 января 1915 года.

В течении девяти дней продолжается упорное сражение на левом берегу Вислы, в секторе, заключающемся между Бзурой и Равкой.

2-го января германцам удалось овладеть важной позицией Боржимова, фронт их наступления находится только в 60 километрах от Варшавы.

Это положение оценивается в Москве с крайней суровостью, если верить впечатлениям, привезенным мне английским журналистом, который хорошо знает русское общество и вчера еще обедал в Славянском Базаре: „Во всех московских салонах и кружках,—говорит он,—мне высказываются очень раздраженно по поводу оборота, который принимают военные события. Не могут себе об'яснить эту приостановку наступления и эти безпрерывные отходы, которые, как кажется, никогда не кончатся".

Однако, обвиняют не великого князя Николая Николаевича, а императора и еще более императрицу. Об Александре Федоровне распускают самые нелепые рассказы, обвиняют Распутина в том, что он продался Германии, а царицу называют не иначе, как немка...

Вот уже несколько раз я слышу, как упрекают императрицу в том, что она сохранила на троне симпатию, предпочтение, глубокую нежность к Германии. Несчастная женщина никаким образом не

заслуживает этого обвинения, которое она знает, и которое приводит ее в отчаяние.

Александра Федоровна, родившаяся немкой, никогда не была ею ни умом, ни сердцем. Конечно, она немка по рождению, по крайней мере со стороны отца, так как ее отцом был Людвиг IV, великий герцог гессенский и рейнский, но она—англичанка по матери, принцессе Алисе, дочери королевы Виктории. В 1878 году, будучи шести лет, она потеряла свою мать, и с тех пор обычно жила при английском дворе. Ее воспитание, ее обучение, ее умственное и моральное образование также были вполне английскими. И теперь еще она—англичанка по своей внешности, по своей осанке, по некоторой непреклонности и пуританизму, по непримиримой и воинствующей строгости ее совести, наконец, по многим своим интимным привычкам. Этим, впрочем, ограничивается все, что проистекает из ее западного происхождения.

Основа ее натуры стала вполне русской. Прежде всего и несмотря на враждебную легенду, которая, как я вижу, возникает вокруг нее, я не сомневаюсь в ее патриотизме. Она любит Россию горячей любовью. И как не быть ей привязанной к этой усыновившей ее родине, которая для нее резюмирует и олицетворяет все ее интересы женщины, супруги, государыни, матери?

Когда она в 1894 году вступила на трон, было уже известно, что она не любит Германии и особенно Пруссии.

В течении последних лет она возненавидела лично императора Вильгельма, и на него она перекладывает всю тяжесть ответственности за войну, „эту ужасную войну, которая каждый день заставляет обливаться кровью сердце Христа". Когда она узнала о пожаре Лувена, она воскликнула:—

„Я краснею оттого, что была немкой!.. Но ее моральное обрусение еще гораздо глубже. По странному действию умственной заразы, она понемногу усвоила самые древние, самые характерные специфические элементы руссизма, которые имеют своим высшим выражением мистическую религиозность.

Я уже отметил в этом дневнике болезненные наклонности, которые Александра Федоровна получила по наследству от матери и которые проявляются у ее сестры, Елизаветы Федоровны, в благотворительной экзальтации, у ее брата, великого герцога гессенского, в странных вкусах. Эти наследственные наклонности, которые были бы незаметны, если бы она продолжала жить в положительной и уравновешенной среде Запада, нашли в России самые благоприятные условия для своего полного развития. Душевное беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смены возбуждения и уныния, навязчивая мысль о невидимом и о потустороннем, суеверное легковерие,—все эти симптомы, которые кладут такой поразительный отпечаток на личность императрицы, разве они не укоренились и не стали повальными в русском народе? Покорность, с которою Александра Федоровна подчиняется влиянию Распутина, не менее знаменательна. Когда она видит в нем „Божьего человека, святого, преследуемого, как Христос фарисеями", когда она признает за ним дар предвидения, чудотворения и заклинания бесов, когда она испрашивает у него благословения для успеха какого-нибудь политического акта или военной операции, она поступает, как поступала некогда московская царица, она возвращает нас к временам Ивана Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, она окружает себя, так сказать, византийской декорацией архаической России.

XI.

Самодержавие и православие.

Четверг, 14 января 1915 г.

Сегодня, согласно православному календарю, начинается 1915 год. В два часа, при бледном солнечном свете и матовом небе, которые здесь и там бросают на снег отблески цвета ртути, дипломатический корпус отправляется в Царское Село принести свои поздравления императору.

Как обычно, выказана пышность больших церемоний, богатство убранства, великолепие могущества и блеска, в чем русский Двор не имеет себе равных.

Экипажи останавливаются у под'езда громадного дворца, который был выстроен императрицей Елизаветой, желавшей затмить двор Людовика XV.

Нас провели в зеркальную галлерею, сверкающую позолотой, хрусталем и огнями. Миссии выстраиваются в порядке старшинства, каждый посол или посланник имеет за собой членов своей миссии.

Почти тотчас же входит император в сопровождении блестящей свиты. У него здоровый вид, открытый и спокойный взгляд.

Перед каждой миссией он останавливается на несколько минут.

Когда он подходит ко мне, я приношу ему мои поздравления, подкрепляя их утешительными уверениями, которые генерал Жоффр просил меня передать великому князю Николаю. Я прибавляю, что в своем недавнем заявлении в палатах, правительство Республики торжественно провозгласило о своем решении продолжать войну до крайности и что это решение гарантирует нам окончательную победу. Император мне отвечает:

— Я читал это заявление вашего правительства и приветствовал его от всего сердца. Мое решение не менее твердо. Я буду продолжать войну так долго, как только будет нужно, чтобы обеспечить нам полную победу... Вы знаете, что я посетил мою армию: я нашел ее превосходной, полной рвения и пыла; она только и хочет, что сражаться, она уверена в победе. К несчастью, недостаток в боевых припасах задерживает наши действия. Необходимо обождать некоторое время. Но это—только кратковременная задержка, и общий план великого князя Николая Николаевича никоим образом от этого не будет изменен. Как только будет возможно, моя армия вновь перейдет в наступление, и до тех пор, пока наши враги не попросят пощады, она будет продолжать борьбу... Путешествие, которое я только что совершил через всю Россию, показало мне, что я нахожусь в душевном согласии с моим народом.

Я благодарю его за эти слова. После минутного молчания он выпрямляется и, голосом дрожащим, полным беспокойства, которого я у него не знал, произносит:

— Я хочу еще сказать вам, господин посол, что мне не безызвестно о некоторых попытках, которые делались даже в Петрограде, распространить мысль о том, будто я упал духом и не верю больше

в возможность сокрушить Германию, наконец, будто я намереваюсь вести переговоры о мире. Эти слухи распространяют негодяи, германские агенты. Но все, что они могли придумать или затеять, не имеет никакого значения. Надо считаться только с моей волей, и вы может быть уверены, что она не изменится.

— Правительство Республики имеет полное доверие к чувствам вашего величества. Оно могло только пренебречь жалкими интригами, на которые вам угодно намекать. Оно не будет от этого менее тронуто уверениями, о которых я донесу ему от имени вашего величества.

На это он отвечает, пожимая мне руку:

— Я выражаю лично вам, мой дорогой посол, мои самые дружественные пожелания.

Пятница, 15 января 1915 г.

Чудная погода; это—такая редкая радость среди безконечной зимы. Несмотря на сильный мороз, я отправляюсь один гулять на острова, где северное солнце распростирает свое колдовство на ледяную поверхность Финского залива. Несколько розовых облаков, испещренных пламенем, пробегают по серебристой лазури неба: кристаллы инея, покрывающие деревья, нетронутый снег, покрывающий землю, сверкают иногда так, как если бы на них была рассеяна бриллиантовая пыль.

Я размышляю о словах, которые мне вчера сказал император и которые лишний раз запечатлевают в моем воспоминании прекрасную нравственную решимость, не покидавшую его с начала войны. Его сознание своего долга поистине так высоко и полно, как это только возможно, потому что оно безпрерывно поддерживается, оживляется и осве-

щается в нем религиозным чувством. В остальном,— я хочу сказать: в положительном знании и в практическом проявлении верховной власти,—он явно не на высоте своего положения. Я спешу прибавить, что никого не достало бы для подобной обязанности, потому что она ultra vires, свыше человеческих сил. Соответствует ли еще самодержавие характеру русского народа, это—проблема, относительно которой крупнейшие умы колеблются высказываться; но что не оставляет сомнения, это—что оно несовместимо с земельными протяжением России, с разнообразием ее племен, с развитием ее экономического могущества. По сравнению с современной империей, в которой насчитывается не менее ста восьмидесяти миллионов населения, распределенного на двадцати двух миллонах квадратных километров, что представляла собою Россия Ивана Грозного и Петра Великого, Екатерины II, даже Николая I?.. Чтобы руководить государством, которое стало таким громадным, чтобы повелевать всеми двигателями и колесами этой исполинской системы, чтобы об'единить и употребить в дело элементы настолько сложные, разнообразные и противоположные, необходим был бы, по крайней мере, гений Наполеона. Каковы бы ни были внутренние достоинства самодержавного царизма, это—географический анахронизм.

Воскресенье, 17 января 1915 г.

Майор Ланглуа, который является лицом, связующим французский главный генеральный штаб с русским, приехал из Барановичей и завтра уезжает через Швецию в Париж.

Он оставил великого князя Николая Николаевича „полным энергии и решимости перейти в наступ-

ление", как только его армия получит боевые припасы. Моральное состояние войск хорошо, наличный состав слаб по причине недавних потерь.

Вторник, 19 января 1915 г.

Министр юстиции Щегловитов, глава крайней правой в Государственном Совете, наиболее радикальный и наиболее непримиримый из реакционеров, посетил меня, чтобы поблагодарить за незначительную услугу, которую я мог ему оказать. Мы говорим о войне, чрезмерную длительность которой я ему предсказываю:

— Иллюзии для нас более не позволительны, — говорю я, — испытание, насколько оно вырисовывается, едва успело начаться и будет все более и более тяжелым. Нам необходимо заготовить обильный запас материальных и моральных сил, подобно тому, как снаряжают корабль для очень опасного и очень долгого пути.

— Да, конечно! Испытание, которому Провидению угодно было нас подвергнуть, обещает быть ужасным, и очевидно, что мы находимся только в его начале. Но, с Божиею помощью и с поддержкой наших добрых союзников, мы его преодолеем. Я не сомневаюсь в нашей конечной победе... Но все же позвольте мне, господин посол, остановиться на одном слове, которое вы произнесли. Вы правильно полагаете, что мы должны запастись моральными силами так же, как пушками, ружьями, разрывными снарядами, ибо очевидно, что эта война обрекает нас на большие страдания, на ужасные жертвы. Я содрогаюсь от ужаса. Но что касается России, то проблема моральных сил относительно проста. Только бы русский народ не был смущен в своих монархических убеждениях—и он вытерпит

все, он совершит чудеса героизма и самоотвержения. Не забывайте, что в глазах русских,—я хочу сказать, истинно-русских—его императорское величество олицетворяет не только верховную власть, но еще религию и родину. Поверьте мне: вне царизма нет спасения, потому что нет России...

С жаром, в котором чувствуются патриотизм и гнев, он прибавляет:

— Царь есть помазанник Божий, посланный Богом для того, чтобы быть верховным покровителем церкви и всемогущим главой империи *). В народной вере он есть даже изображение Христа на земле, Русский Христос. И так как его власть исходит от Бога, он должен давать отчет только Богу—божественная сущность его власти влечет еще то последствие, что самодержавие и национализм неразлучны... Проклятие безумцам, которые осмеливаются поднять руку на эти догматы. Конституционный либерализм есть скорее религиозная ересь, чем химера или глупость. Национальная жизнь существует только в рамке из самодержавия и православия. Если политические реформы необходимы, они могут совершиться только в духе самодержавия и православия.

Я отвечаю:

— Из всего, что вы мне сказали, ваше превосходительство, я запоминаю, главным образом, то, что сила России имеет необходимыми условием тесное единение императора и народа. По причинам, отличающимся от ваших, я прихожу к тому же заключению. Я не перестаю проповедывать это единение.

*) Царь вовсе не является, как часто пишут, главой церкви, он только ее верховный покровитель с точки зрения религиозной; у него нет других преимуществ, кроме права причащаться непосредственно с престола чашей и хлебом.

Когда он удалился, я размышляю о том, что выслушал только что изложенные учения об абсолютном царизме, какие преподавал известный обер-прокурор святейшего синода Победоносцев двадцать лет назад своему молодому ученику Николаю II, какие крупный писатель Мережковский устанавливал недавно в сочинении о мятежных волнениях 1905 года.

Четверг, 21 января 1915 г.

Мирная пропаганда, которую Германия так деятельно ведет в Петрограде, свирепствует также в армиях на фронте. В нескольких пунктах захвачены прокламации, составленные на русском языке, подстрекающие солдат не сражаться больше и утверждающие, что император Николай, в своем отеческом сердце, вполне склонен к мысли о мире. Войска остаются равнодушны к этим призывам. Великий князь Николай счел, однако, необходимым протестовать против намеков на царя. В приказе по армии он об'являет низким преступлением этот предательский прием врага, и заканчивает так: всякий верноподданный знает, что в России все, от главнокомандующего до простого солдата, повинуются священной и августейшей воле помазанника Божьего, нашего высокочтимого императора, который один обладает властью начинать и оканчивать войну.

Среда, 27 января 1915 г.

Благодарность за присланную мне брошюру приводит меня на Сергиевскую, к почтенному и симпатичному Куломзину, статс-секретарю, кавалеру

знаменитого ордена Святого Андрея. Он приближается уже к восьмидесяти годам. Состарившийся на самых высоких должностях, он сохранил всю ясность своего ума; я люблю беседовать с ним, потому что он полон опыта, благоразумия и доброты.

На тему о войне он прекрасно говорит мне:

— Каковы бы ни были наши нынешние затруднения, честь России обязывает их превозмочь. Она должна по отношению к своим союзникам, она должна по отношению к самой себе продолжать борьбу, какой бы то ни было ценой, до полного поражения Германии... Только бы наши союзники имели немного терпения! К тому же, продолжение войны зависит только от государя императора, а вы знаете его мысли...

Затем мы говорим о внутренней политике. Я не скрываю от него, что обеспокоен недовольством, которое обнаруживается со всех сторон, во всех классах общества. Он мне жалуется, что состояние общественного мнения также его заботит и что реформы необходимы; но он прибавляет с уверенностью, которая меня поражает:

— Но реформы, о которых я думаю и для изложения которых потребовалось бы слишком много времени, не имеют ничего общего с теми, которых требуют наши конституционалисты-демократы Думы и еще менее—простите мою откровенность—с теми, которые так настоятельно нам рекомендуют некоторые публицисты Запада. Россия — не западная страна и не будет ею никогда. Весь наш национальный характер противоречит вашим политическим методам. Реформы, о которых я думаю, внушаются, напротив, двумя принципами, которые являются столпами нашего нынешнего режима и которые надо поддерживать во что бы то ни стало: это— самодержавие и православие... Не теряйте никогда

из виду того, что император получил свою власть от самого Бога, через миропомазание, и что он не только глава русского государства, но еще и верховный правитель православной церкви, высочайший властелин святейшего синода. Разделение власти гражданской и церковной, которое кажется вам естественным во Франции,—невозможно у нас: оно было бы противно всему нашему историческому развитию. Царизм и православие связаны друг с другом неразрывными узами, узами божественного права. Царь также не может отказаться от абсолютизма, как отречься от православной веры... Вне самодержавия и православия остается только место для революции. А под революцией я подразумеваю анархию, полное разрушение России. У нас революция может быть только разрушительной и анархической. Посмотрите, что произошло с Толстым. Переходя от заблуждения к заблуждению, он отступился от православия. Тотчас же он впал в анархию... Его разрыв с церковью роковым образом привел его к отрицанию государства.

— Если я правильно понимаю вашу мысль, политическая реформа должна была бы иметь своим следствием или даже своим началом церковную реформу, например: упразднение святейшего синода, восстановление патриаршества...

Он отвечает мне с явным затруднением:

— Вы касаетесь здесь, господин посол, важных вопросов, относительно которых лучшие умы, к несчастью, разделились. Но многое может быть сделано в этом порядке идей.

Укрывшись несколькими фразами, он переводит разговор на вечную русскую проблему, которая заключает в себе все остальные—аграрную проблему. Никто не может более компетентно обсуждать этот важный вопрос, потому что он в 1861 году прини-

мал деятельное участие в освобождении крестьян и с тех пор участвовал во всех последующих реформах. Он один из первых открыл ошибочность первоначальной мысли и проповедывал, что следовало бы немедленно переговорить с мужиком о личной собственности, о полной и цельной собственности его участка земли. Подчинение всей земли миру, в действительности, поддержало у русского крестьянина крайне коммунистическую мысль, будто земля, по исключительному праву, принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Известные постановления, изданные Столыпиным в 1906 году и написанные в таком либеральном духе, не имели более горячего защитника, чем Куломзин. Он оканчивает такими словами:

— Передать крестьянам возможно большую площадь земли, крепко организовать личную собственность в деревенских массах—от этого зависит, по моему мнению, все будущее России. Результаты, которыми мы обязаны реформе 1906 года, уже очень значительны. Если Господь сохранит нас от безумных авантюр, я считаю, что через пятнадцать лет режим личной собственности вполне заменит у крестьян режим общинной собственности.

XII.

Забытая телеграмма царя императору Вильгельму.

Воскресенье, 31 января 1915 г.

Петроградский „Правительственный Вестник" публикует текст телеграммы от 29 июля прошлого года, в которой император Николай предложил императору Вильгельму передать австро-сербский спор Гаагскому суду. Вот текст этого документа:

„Благодарю за твою телеграмму, примирительную и дружескую. Между тем, оффициальное сообщение, переданное сегодня твоим послом моему министру, было совершенно в другом тоне. Прошу об'яснить это разногласие. Было бы правильным передать австро-сербский вопрос на гаагскую конференцию. Рассчитываю на твою мудрость и дружбу."

Немецкое правительство не сочло нужным опубликовать эту телеграмму в ряду посланий, которыми непосредственно обменялись оба монарха во время кризиса, предшествовавшего войне.

Я спрашиваю у Сазонова:

— Каким образом случилось, что ни Бьюкенен, ни я, не знали о таком важном документе?

— Я знаю об этом не более, чем вы... император написал его самолично, не спрашивая ни у кого совета. По его мысли, это был прямой призыв доверия и дружбы к императору Вильгельму; он возобновил бы свое предложение в официальной форме, если бы ответ кайзера был благоприятным. Но кайзер даже не ответил...

На-днях, разбирая бумаги его величества, нашли в них черновик телеграммы. Я заставил управление телеграфа проверить, что послание действительно достигло Берлина.

— Печально думать, что наши правительства не знали об этой телеграмме. Это произвело бы такое впечатление на общественное мнение всех стран... Подумайте только: 29 июля, в момент, когда тройственное согласие усугубляло свои усилия, чтобы сохранить мир...

— Да, это изумительно.

— И какую ужасную ответственность взял на себя император Вильгельм, оставляя без единого слова ответа предложение императора Николая! Он не мог ответить на такое предложение иначе, как согласившись на него. И он не ответил потому, что хотел войны.

— История ему это зачтет. Потому что теперь, наконец, установлено, что в этот день, 29 июля, император Николай предложил подвергнуть австро-сербский спор международному третейскому суду; что в этот же самый день император Франц-Иосиф начал враждебные действия, отдав приказ бомбардировать Белград; и что в тот же день император Вильгельм председательствовал в известном совете в Потсдаме, на котором была решена всеобщая война.

XIII.

Вторичное открытие думы.

Понедельник, 1 февраля 1915 г.

На левом берегу Вислы, в районе Сохачева, русские приступили к ряду частичных и коротких атак, которые хорошо соответствуют тому, что великий князь Николай называет „оборонительное положение настолько активное, насколько это возможно". В Буковине, по недостатку боевых припасов, они медленно отступают.

Пятница, 5 февраля 1915 г.

Я принимаю визит министра земледелия Кривошеина. Среди всех членов кабинета Горемыкина, он, вместе с Сазоновым,—самый либеральный и наиболее преданный союзу.

Министерство земледелия имеет важное значение в России; можно сказать, что оно ведает всей экономической и социальной жизнью. Кривошеин в своей громадной работе обнаруживает качества, довольно редкие среди русских: ясный и методический ум, склонность к определенности в действиях, понимание руководящих принципов и общих планов, ум инициативный, последовательный и систематический. Переселенческое дело, которым он

ведает в Сибири, в Туркестане, в Фергане, в Великой Монголии, в Киргизской степи, дает каждый год изумительные результаты. Я спрашиваю его о впечатлениях, которые он вынес из ставки, где он недавно был.

— Превосходные,—говорит он мне,—превосходные... Великий князь Николай полон уверенности и пыла. Как только его артиллерия получит снаряды, он перейдет в наступление; он все намеревается итти на Берлин...

Затем он говорит мне о декларации, которую правительство прочтет в следующий вторник при открытии Думы.

— Эта декларация, я надеюсь, произведет большое впечатление в Германии и Австрии; она по меньшей мере, так же энергична и решительна, как та, которую ваше правительство недавно прочитало во французском парламенте. Я заявляю вам, что после этого уже не будут себя спрашивать, хочет или нет Россия продолжать войну до победы...

Наконец, он рассказывает мне, что император третьяго дня долго излагал ему свои мысли об общих основах будущего мира, и что он несколько раз говорил о своем желании уничтожить германскую империю: „Я не допущу больше,—сказал царь решительным тоном,—я не допущу никогда более, чтобы при мне был аккредитован посол германского кайзера".

Благодаря дружественной откровенности, которая господствует в наших отношениях, я позволяю себе спросить у Кривошеина, не опасается ли он того, что ведение войны не было бы вскоре стеснено, может быть, парализовано затруднениями во внутренней политике. После минутного колебания он отвечает мне:

— Я отношусь к вам с доверием, господин посол; я буду откровенно говорить с вами... Победа наших армий не возбуждает во мне никаких сомнений, при одном условии: чтобы существовало внутреннее согласие между правительством и общественным настроением. Это согласие было в начале войны полным; к несчастью, я должен признать, что ныне оно под угрозой. Я еще третьяго дня говорил императору... Увы! вопрос этот существует не с сегодняшнего дня. Антагонизм между императорской властью и гражданским обществом есть самый тягостный бич нашей политической жизни. Я с болью наблюдаю за ним уже давно. И несколько лет назад я выразил всю мою скорбь в одной фразе, которая произвела тогда некоторый шум; я говорил: „будущее России останется непрочным, пока правительство и общество будут упорно смотреть друг на друга, как два противоположные лагеря, пока каждый из них будет обозначать другого словом „они“ и пока они не будут употреблять слово „мы“, чтобы указать на совокупность русских“.

— Чья вина? Как всегда, ничья и всех. Заблуждения и отсталость царизма вас беспокоят. Вы не ошибаетесь. Но разве можно предпринять какую-нибудь имеющую значение реформу во время войны? Конечно нет, потому что, наконец, если царизм имеет важные недостатки, он имеет также первоклассные достоинства, незаменимые заслуги: это— могучая связь между всеми разнородными элементами, которые работой веков понемногу собраны вокруг старой Московии. Только царизм создает наше национальное единство. Отбросьте этот крепкий принцип—и вы тотчас же увидите Россию рас-

падающейся, впадающей в расплывчатость. Кому бы это послужило на пользу? Конечно, не Франции... Одна из причин, которая привязывает меня сильнее всего к царизму, это та, что я считаю его способным на эволюцию. Он уже так часто эволюционировал... Учреждение Думы в 1905 году—громадное событие, которое изменило всю нашу политическую психологию. Я считаю, что более определенное ограничение императорской власти все же необходимо, а также, что надо будет распространить контроль Думы на управление; наконец, я считаю, что надо будет осуществить во всех наших ведомствах широкую децентрализацию. Но я повторяю вам, господин посол, что это, может быть, как я говорил уже это на этих днях его величеству, существенная задача министров—устранить несогласие, которое обнаруживается в течении нескольких месяцев между правительством и общественным мнением. Это условие—sine qua non нашей победы...

Вторник, 5 февраля 1915 г.

Большое оживление царит сегодня в Таврическом дворце, где Государственная Дума вновь открывает свои заседания. Заявление правительства действительно таково, как мне предсказал Кривошеин: я не мог желать более решительного языка. Раздается гром апплодисментов, когда Горемыкин усиливает, насколько может, свой слабый голос, чтобы бросить фразу:

— Турция присоединилась к нашим врагам; но ее военные силы уже поколеблены нашими славными кавказскими войсками, и все более и более ясно вырисовывается перед нами бле-

стящее будущее России там, на берегах моря, которое омывает стены Константинополя.

Затем горячая речь Сазонова, который, очень благоразумно, делает только краткий намек на вопрос о проливах:

— Приближается день, когда будут решены проблемы экономического и политического порядка, которые отныне ставят необходимость обеспечить России доступ к свободному морю.

Ораторы, которые затем всходят на кафедру точно определяют национальные стремления. Депутат Московской губернии Евграф Ковалевский утверждает, что война должна положить конец вековому спору России и Турции. Ему неистово апплодируют, когда он произносит:

— Проливы—это ключ к нашему дому; они должны перейти в наши руки вместе с прибрежной территорией.

Также лидер „кадетов" Милюков возбуждает энтузиазм, когда он благодарит Сазонова за его заявление:

— Мы счастливы узнать, что осуществление нашего национального стремления находится на хорошей дороге. Теперь мы уверены, что приобретение Константинополя и проливов совершится в удобный момент, путем дипломатических действий.

Во время перерыва я беседую с председателем Родзянко и несколькими депутатами—Милюковым, Шингаревым, Протопоповым, Ковалевским, Василием Маклаковым, князем Борисом Голицыным, Чихачевым и др. Все они, привозят из своих губерний одно и то же впечатление: они меня убеждают, что война глубоко взволновала народное сознание и что русский народ возмутился бы против мира, который бы не был победоносным, ко-

торый бы не дал России Константинополя. Шингарев отводит меня в сторону и говорит:

— То, что вы видите и слышите, господин посол, это подлинная Россия, и я вам свидетельствую, что Франция имеет в ней верную союзницу, союзницу, которая израсходует все до последнего солдата и до последней копейки, чтобы одержать победу. Но еще нужно, чтобы сама Россия не была предана некоторыми тайными злоумышленниками, которые становятся опасными. Вы лучше, чем мы, господин посол, можете видеть многие вещи, о которых мы имеем возможность только подозревать... Вам следует быть чрезвычайно бдительным.

Шингарев—депутат Москвы, член „кадетской" партии, по профессии врач, тонкий ум, честный характер; он довольно точно передает то, что думает русский народ в своих самых здоровых частях.

Понедельник, 15 февраля 1915 г.

В районе Тильзита, на нижнем Немане, вплоть до района Плоцка на Висле, т. е. на фронте в 150 километров, русская армия отступает. Она потеряла свои окопы у Ангерапа и все извилины Мазурских озер, которые были так удобны для укрепления; она постепенно отступает на Ковно, Гродно и Осовец к Нареву.

Я говорю о Польше с графом Р., яростным националистом.

— Признайтесь,—говорю я,—что поляки имеют некоторые основаная не питать никакой любви к России.

— Это правда; иногда у нас была тяжелая рука по отношению к Польше... Но Польша воздала нам за это.

— Каким образом?

— Дав нам евреев.

Это верно, что еврейский вопрос существует для России только со времени раздела Польши.

Вторник, 16 февраля 1915 г.

10-я армия с большим трудом выбирается из лесистой области, которая простирается на восток от Августова и Сувалок. Южнее, в Кольно, на пути к Ломже, одна из ее колонн была окружена и уничтожена.

„Сообщения" из ставки ограничиваются заявлениями, что под давлением значительных сил, русские войска отступают на укрепленную линию Немана. Но народ понимает...

Четверг, 18 февраля 1915 г.

10-ой армии еще не удалось вполне освободиться от германского охвата. Состоящая из четырех корпусов или двадцати дивизий, она уже оставила в руках врага 50.000 пленных и 60 пушек.

Я обедаю в Царском Селе у великого князя Павла, в интимной обстановке.

Великий князь с бесспокойством спрашивает меня о действиях, которые заставили Россию потерять неоценимый залог—Восточную Пруссию, и каждая подробность, которую он узнает от меня, вызывает у него глубокий вздох:

— Боже, куда нас это ведет!

Затем, снова овладевая собою, с прекрасным жестом решимости, он говорит:

— Нужды нет, мы пойдем до конца. Если надо еще отступать, мы будем отступать; но я вам гарантирую, что мы будем продолжать войну до победы... К тому же, я только повторяю вам то,

что трётьего дня мне говорили император и императрица. Они оба удивительно мужественны. Никогда ни одного слова жалобы, никогда ни слова уныния. Они стремятся только поддерживать друг друга. Затем никто из окружающих их, никто не осмеливается говорить с ними о мире.

Воскресенье, 21 февраля 1915 г.

Сообщение из ставки об'являет и об'ясняет без особенных умолчаний эвакуацию Восточной Пруссии. Что особенно поражает публику, это настойчивость русского штаба, с которой он указывает на превосходство, которым германцы обязаны их проволочным заграждениям.

Пессимисты всюду повторяют: „Мы никогда не победим немцев".

В начале этого месяца герцог де-Гиз (сын герцого шартрского) инкогнито прибыл в Софию, приняв от Делькассэ поручение воздействовать на царя Фердинанда, чтобы присоединить его к нашему делу.

Фердинанд отнюдь не спешил принять своего племянника. Под различными предлогами он дал ему аудиенцию только после того, как заставил его прождать шесть дней. Введенный, наконец, во дворец, герцог де-Гиз настойчиво изложил политические причины, которые должны были бы побудить Болгарию вступить в нашу коалицию; он еще с большим жаром указывал на „семейные резоны", которые возлагают на внука короля Людовика-Филиппа долг помогать Франции. Цар Фердинанд слушал с самым внимательным и любезным видом; но он заявил ему без обиняков, что решил сохранить за собой свободу действий. Затем, вне-

запно, со злой улыбкой, которую я столько раз видел на его губах, он продолжал:

— Теперь, когда поручение, которое ты на себя взял, окончено, будь снова моим племянником.

И он говорил только о банальных вещах.

Герцог де-Гиз был в течении следующих дней три раза принят во дворце, но не мог перевести разговора на политическую почву.

13 февраля он уехал в Салоники.

Неудача его мисси знаменательна.

Вторник, 23 февраля 1915 г.

Германцы продолжают успешно продвигаться между Неманом и Вислой.

Констатируя усталость своих войск и истощение запасов, великий князь Николай осторожно дал мне знать, что он был бы счастлив, если бы французская армия перешла в наступление, дабы остановить переброску немецких сил на восточный фронт. Сообщая об этом желании французскому правительству, я позаботился напомнить, что великий князь Николай, не колеблясь, пожертвовал армией генерала Самсонова 29 августа прошлого года в ответ на нашу просьбу о помощи. Ответ таков, какого я и ожидал: генерал Жоффр отдал приказ об энергичном наступлении в Шампани.

XIV.

Встреча с Распутиным.

Среда, 24 февраля 1915 г.

Сегодня днем, когда я, наконец, наношу визит г-же О., которая деятельно занимается благотворительными делами, внезапно с шумом открывается дверь гостиной. Человек высокого роста, одетый в длинный черный кафтан, какие носят в праздничные дни зажиточные мужики, обутый в грубые сапоги, приближается быстрыми шагами к г-же О., которую шумно целует. Это—Распутин.

Кидая на меня быстрый взгляд, он спрашивает:

— Кто это?

Г-жа О. называет меня. Он снова говорит:

— Ах, это французский посол. Я рад с ним познакомиться; мне как раз надо кое-что ему сказать.

И он начинает говорить с величайшей быстротой. Г-жа О., которая служит нам переводчицей, не успевает даже переводить. У меня есть, таким образом, время его рассмотреть. Темные волосы, длинные и плохо причесанные; черная и густая борода; высокий лоб; широкий и выдающийся нос; мясистый рот. Но все выражение лица сосредоточивается в глазах, в голубых, как лен, глазах со странным блеском, с глубиною, с притягательностью. Взгляд в одно и то же время пронзительный и ласковый, открытый и хитрый, прямой и далекий.

Когда его речь оживляется, можно подумать, что его зрачки источают магнетическую силу.

В коротких, отрывочных фразах, с множеством жестов, он набрасывает предо мною патетическую картину страданий, которые война налагает на русский народ:

— Слишком много мертвых, раненых, вдов, сирот, слишком много разорения, слишком много слез... Подумай о всех несчастных, которые более не вернутся, и скажи себе, что каждый из них оставляет за собою пять, шесть, десять человек, которые плачут. Я знаю деревни, большие деревни, где все в трауре... А те, которые возвращаются с войны, в каком состоянии, Господи Боже!.. искалеченные, однорукие, слепые!... Это ужасно!.. В течении более двадцати лет на русской земле будут пожинать только горе.

— Да, конечно, — говорю я, — это ужасно; но было бы еще хуже, если бы подобные жертвы должны были остаться напрасными. Неопределенный мир, мир из-за усталости, был бы не только преступлением по отношению к нашим мертвым: он повлек бы за собою внутренние катастрофы, от которых наши страны, может быть, никогда бы более не оправились.

— Ты прав... Мы должны сражаться до победы.

— Я рад слышать, что ты это говоришь, потому что я знаю нескольких высокопоставленных лиц, которые рассчитывают на тебя, чтобы убедить императора не продолжать более войны.

Он смотрит на меня недоверчивым взглядом и чешет себе бороду. Затем, внезапно:

— Везде есть дураки!

— Что неприятно—так это то, что дураки вызвали к себе доверие в Берлине. Император Вильгельм убежден, что ты и твои друзья употребляют все ваше влияние в пользу мира.

— Император Вильгельм?... Но разве ты не знаешь, что его вдохновляет дьявол? Все его слова, все его поступки внушены ему дьяволом. Я знаю, что говорю, я это знаю!... Его поддерживает только дьявол. Но в один прекрасный день, внезапно, дьявол отойдет от него, потому что так повелит Бог, и Вильгельм упадет плашмя, как старая рубашка, которую бросают наземь.

— В таком случае, наша победа несомненна... Дьявол, очевидно, не может остаться победителем.

— Да, мы победим. Но я не знаю, когда... Господь выбирает, как хочет, час для своих чудес. И мы еще далеки от конца наших страданий: мы еще увидим потоки крови и много слез...

Он возвращается к своей начальной теме—необходимости облегчить народные страдания:

— Это будет стоить громадных сумм, миллионы и миллионы рублей. Но не надо обращать внимания на расходы... Потому что, видишь ли, когда народ слишком страдает, он становится плох; он может быть ужасным, он доходит иногда до того, что говорит о республике... Ты должен был бы сказать обо всем этом императору.

— Однако же, я не могу говорить императору плохое о республике.

— Конечно, нет! Но ты можешь ему сказать, что счастье народа никогда не оплачивается слишком дорого и что Франция даст ему все необходимые деньги... Франция так богата.

— Франция богата потому, что она очень трудолюбива и очень экономна... Еще совсем недавно она дала большие авансы России.

— Авансы?.. Какие авансы?... Я уверен, что это еще один раз деньги для чиновников. Из них ни одна копейка не достанется крестьянам, нет, поверь мне. Поговори с императором, как я тебе сказал.

— Нет, ты сам скажи ему. Ты видишь его го разде чаще, чем я.

Мое сопротивление ему не нравится. Поднимая голову и сжимая губы, он отвечает почти дерзким тоном:

— Эти дела меня не касаются. Я—не министр финансов имератора: я—министр его души.

— Хорошо. Пусть будет так!.. Во время моей следующей аудиенции, я буду говорить с императором в том смысле, как ты желаешь.

— Спасибо, спасибо... Еще последнее слово. Получит ли Россия Константинополь?

— Да, если мы победим.

— Это наверно?

— Я твердо в это верю.

— Тогда русский народ не пожалеет о том, что он столько страдал, и согласится еще много страдать.

После этого он целует г-жу О. прижимает меня к своей груди, и уходит большими шагами, хлопнув дверью.

XV.

Восточный вопрос.

Суббота, 27 февраля 1915 г.

Англо-французский флот мужественно продолжает нападение на Дарданеллы; все внешние форты уже приведены к молчанию. Отсюда живое волнение среди русской публики, которая со дня на день ожидает появления союзных кораблей перед Золотым Рогом.

Византийский мираж все более прельщает общественное мнение, до такой степени, что оно становится почти равнодушным к потере Восточной Пруссии, как если бы осуществление византийской мечты не имело предварительным условием поражение Германии.

Понедельник, 1 марта 1915 г.

Сегодня утром Сазонов призывает Бьюкенена и меня в свидетели того волнения, которое вопрос о Константинополе вызывает во всех слоях русского народа:

— Несколько недель тому назад,—говорит он нам,—я еще мог думать, что открытие проливов не предполагает необходимым образом окончательного занятия Константинополя. Сегодня я принужден констатировать, что вся страна требует этого радикального решения... До сих пор сэр Эдуард Грей

ограничивался сообщением о том, что вопрос о проливах должен будет решаться сообразно с желанием России. Но пришло время быть более точным. Русский народ не должен впредь оставаться в неведении, что он может рассчитывать на своих союзников в деле осуществления своей национальной задачи. Англия и Франция должны громко заявить, что они согласятся, в день мира, на присоединение Константинополя к России.

Генерал По, который в начале войны командовал армией в Эльзасе и овладел Мюльгаузеном, приехал в Петроград через Салоники, Софию и Бухарест; ему поручено передать русской армии французские знаки отличия. Впечатления, которые он привозит мне из Франции, превосходны.

Сегодня вечером я даю в его честь обед, он всем сообщает уверенность, которой дышат его слова и его лицо.

Среда, 3 марта 1915 г.

Сегодня я представляю генерала По императору; нас сопровождает генерал Лагиш.

Без десяти минут в час граф Бенкендорф,—обер-гофмаршал Двора,—вводит нас к его величеству, в одну из маленьких гостиных царскосельского дворца; император выказывает себя, по своему обычаю, простым и радушным, но вопросы, которые он задает генералу По о нашей армии, о состоянии наших боевых запасов, о наших военных действиях, как всегда банальны и неопределенны. К тому же, почти тотчас же, входит императрица, четыре молодых княжны и цесаревич с обер-гофмейстериной Нарышкиной. Несколько слов представления—и все идут к столу.

Согласно со старым русским обычаем, в Александровском дворце нет столовой. Смотря по обстоятельствам, стол накрывается то в одной, то в другой комнате. Сегодня стол—круглый, настоящий семейный стол—накрыт в библиотеке, где солнце, искрящиеся алмазами отблески снега и светлые перспективы сада разливают веселье.

Я сижу с правой стороны от императрицы, а генерал По—с левой. Г-жа Нарышкина сидит справа от императора, а генерал Лагиш—слева. С правой стороны от меня—старшая из великих княжен, Ольга Николаевна, которой девятнадцать лет. Три ее сестры, цесаревич и граф Бенкендорф занимают остальные места.

Никакого стеснения, никакой принужденности в беседе, которая, однако ж, кажется немного вялой.

У императрицы хороший вид; но в ней есть видимое старание быть любезной и улыбаться. Она несколько раз возвращается к той теме, которую Распутин так горячо развивал передо мной, бесконечное подчеркиванье страданий, которые война ведет за собой для нисших классов. Политический и моральный долг повелевает придти к ним на помощь.

Время от времени цесаревич, который находит завтрак слишком длинным, развлекается проказами, к большому отчаянию своих сестер, которые смотрят на него строгими глазами. Император и императрица улыбаются, притворяясь, что не видят.

Генерал По производит превосходное впечатление своим естественным достоинством, своим прекрасным лицом честного солдата, своею талантливостью, скромностью и заслуженностью.

Как только встают из-за стола, император увлекает меня в глубину гостиной, предлагает папиросу, и, принимая серьезный вид, говорит мне:

— Вы помните разговор, который был у меня с вами в ноябре прошлого года? С тех пор мои мысли не изменились. Однако, есть один пункт, который события заставляют меня точно определить: я хочу говорить о Константинополе. Вопрос о проливах в высшей степени волнует русское общественное мнение. Это течение с каждым днем все усиливается. Я не признаю за собой права налагать на мой народ ужасные жертвы нынешней войны, не давая ему в награду осуществления его вековой мечты. Поэтому мое решение принято, господин посол. Я радикально разрешу проблему Константинополя и проливов. Решение, на которое я вам указывал в ноябре,—единственно возможное, единственно исполнимое. Город Константинополь и южная Фракия должны быть присоединены к моей империи. Впрочем, я допущу для управления городом особый режим, который бы принял во внимание иностранные интересы... Вы знаете, что Англия уже дала мне знать о своем согласии. Если бы, однако, возникли некоторые споры относительно подробностей, я рассчитываю на ваше правительство, чтобы их устранить.

— Могу ли я заверить мое правительство в том, государь, что, в отношении проблем, которые непосредственно интересуют Францию, намерения вашего величества также не изменились?

— Конечно... Я желаю, чтобы Франция вышла из этой войны такой великой и сильной, как только возможно. Я заранее соглашаюсь на все, чего ваше правительство может желать, и особенно на все политические или военные меры, которые оно сочтет необходимыми.

Затем он подводит меня к императрице, которая беседует с генералами По и Лагишем. Через пять минут монархи удаляются.

Понедельник, 8 марта 1915 г.

Согласно телеграмме, которую я получил сегодня ночью от Делькассэ, я заявляю Сазонову, что он может рассчитывать на искреннее желание французского правительства, чтобы константинопольский вопрос и вопрос о проливах были решены сообразно с желанием России.

Сазонов искренно благодарит меня:

— Ваше правительство,— говорит он мне,—оказываете союзу неоценимую услугу... услугу, о которой вы, может быть, не догадываетесь...

Суббота, 13 марта 1915 г.

Сегодня утром скончался граф Витте почти скоропостижно, от мозговой опухоли. Телеграфируя об этой новости Делькассэ, я прибавляю: б о л ь ш о й о ч а г и н т р и г п о г а с в м е с т е с н и м. Граф Витте доканчивал свой шестьдесят шестой год.

Понедельник, 15 марта 1915 г.

Французское правительство, обсудив условия мира, которые союзники должны будут предписать Турции, поручает мне сообщить русскому правительству о компенсациях, которые Франция желает получить в Сирии.

Император, который находится в ставке, приглашает меня там с ним встретиться, чтобы обсудить вопрос; он приглашает также Сазонова.

Вторник, 16 марта 1915 г.

Уехав из Петрограда вчера в семь часов вечера в придворном вагоне, прицепленном к варшавскому

экспрессу, я просыпаюсь сегодня утром в Вильно, откуда специальный поезд везет меня в Барановичи. До половины первого часа дня я проезжаю по обширным равнинам, почти пустынным, которые развертывают вдали свои снежные волны, похожие на ковер из горностая.

Барановичи—бедное местечко. расположенное на большой железной дороге, которая соединяет Варшаву и Москву через Брест-Литовск, Минск и Смоленск.

Ставка расположена в нескольких верстах от местечка в прогалине леса из сосен и берез. Все службы штаба занимают десяток поездов, расположенных в виде веера среди деревьев. Тут и там, в промежутках, виднеются несколько военных бараков, да несколько казачьих и жандармских постов.

Меня отводят прямо к императорскому поезду, который протягивает под высоким лесом, освещенным солнцем, бесконечную вереницу своих громадных вагонов.

Император немедленно принимает меня в своем салон-вагоне:

—Я рад,—говорит он мне,—принять вас здесь, в главном штабе моих армий. Это будет еще одно наше общее воспоминание, мой дорогой посол.

—Я обязан вашему величеству радостным воспоминанием о Москве. Не без волнения нахожусь я в вашем присутствии здесь, в центре жизни ваших армий.

—Идите завтракать... Мы поговорим потом... Вы должны быть очень голодны...

Мы входим в следующий вагон, который состоит из курительной комнаты и длинной столовой. Стол накрыт на двенадцать приглашенных. Великий князь Николай Николаевич садится справа от императора, великий князь Петр Николаевич —

слева от него. Место напротив его величества занято, согласно обычаю, князем Доргоруким, маршалом Двора; я сижу с правой стороны от него, и направо от меня самого—генерал Янушкевич, начальник штаба верховного главнокомандующего. Узость стола позволяет вести разговор с одного края на другой.

Беседа свободная и оживленная. Никакой принужденности. Император, очень веселый, спрашивает меня о моем путешествии, об успехе, недавно одержанном французской армией в Аргоннах, о действиях союзных эскадр при входе в Дарданеллы, и т. д. Затем, внезапно, с блеском иронической радости в глазах:

—А этот бедный граф Витте, о котором мы не говорим. Надеюсь, мой дорогой посол, что вы не были слишком опечалены его исчезновением?

—Конечно, нет, государь!.. И когда я сообщал об его смерти моему правительству, я заключил краткое нагробное слово в следующей простой фразе: б о л ь ш о й о ч а г и н т р и г п о г а с в м е с т е с н и м.

—Но это как раз моя мысль, которую вы тут передали... Слушайте, господа...

Он повторяет два раза мою формулу. Наконец, серьезным тоном, с авторитетным видом, он произносит:

—Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением. Я увидел в ней также знак Божий.

По этим словам я могу судить, насколько Витте его беспокоил.

Тотчас после окончания завтрака император ведет меня в свой рабочий кабинет. Это продолговатая комната, занимающая всю ширину вагона, с темной мебелью и большими кожаными креслами.

На столе возвышается груда больших пакетов.

—Смотрите,—говорит мне император,—вот мой ежедневный доклад. Совершенно необходимо, чтобы я прочел все это сегодня.

Я знаю от Сазонова, что он никогда не пропускает этой ежедневной работы, что он добросовестно исполняет свой тяжелый труд монарха.

Усадив меня рядом с собой, он обращает на меня взгляд сочувствующий и внимательный.

—Теперь я вас слушаю.

Тогда я излагаю ему всю программу цивилизаторской деятельности, которую Франция намерена предпринять в Сирии, в Киликии и Палестине. После того, как он заставил меня показать ему подробным образом на карте области, которые, таким образом, перешли бы под французское влияние, он заявляет мне:

—Я согласен на все ваши предложения.

Обсуждение политических вопросов окончено. Император встает и ведет меня на другой конец кабинета, к длинному столу, где развернуты карты Польши и Галиции. Указав мне общее распределение своих армий, он говорит мне:

—Со стороны Нарева и Немана опасность отвращена. Но я придаю большое значение еще операциям, которые начались в районе Карпат. Если наши успехи будут продолжаться, мы скоро овладеем главными перевалами, что нам позволит выйти на венгерскую равнину. Тогда наше дело получит более быстрый ход. Идя вдоль Карпат, мы достигнем ущелий Одера и Нейссы. Оттуда мы проникнем в Силезию...

Император отпускает меня с следующими словами:

—Я знаю, что вы уезжаете сегодня вечером. Но мы еще увидимся за чаем. Если же у вас нет ничего более интересного, я поведу вас посмотреть кинематографические картины, которые изображают наши действия в Армении, и которые очень интересны.

Я покидаю императора в половине третьего.

После разговора с Сазоновым я отправляюсь к главнокомандующему, поезд которого расположен в нескольких метрах отсюда.

Великий князь принимает меня в обширном и комфортабельном кабинете, устланном медвежьими шкурами и восточными коврами. Со своей обычной откровенностью и решительностью он говорит мне:

—Я должен побеседовать с вами о важных вещах. Это не великий князь говорит с господином Палеологом, это — главнокомандующий русскими армиями оффициально обращается к французскому послу. В качестве главнокомандующего, я должен вам заявить, что немедленное содействие Италии и Румынии требуется повелительной необходимостью. Не толкуйте, все же, эти слова, как вопль отчаяния. Я остаюсь убежденным, что с Божью помощью мы победим. Но без немедленного содействия Италии и Румынии война продолжится еще очень долгие месяцы и будет сопровождаться ужасным риском.

Я отвечаю великому князю, что французское правительство не переставало увеличивать свои старания, дабы приобрести нам содействие Японии, Греции, Болгарии, Румынии, Италии—г. Делькассэ стучался во все двери. В данный же момент он ухищряется, чтобы увлечь румынское и итальянское правительства. Но я не скрываю, что притязания России на Константинополь и проливы сделают, может быть, невозможным вступление этих двух правительств в наш союз.

—О, это—дело дипломатии... Я не хочу об этом ничего знать... теперь побеседуем откровенно.

Он предлагает мне попиросу, усаживает меня рядом с собой на диване и задает мне тысячу вопросов относительно Франции; дважды он мне говорит:

—Я не нахожу слов, чтобы выразить восхищение, которое мне внушает Франция.

Ход разговора приводит нас к течению войны. Я передаю великому князю то, что император только что сообщил мне относительно плана об общем наступлении на Силезию по ущельям Одера и Нейссы.

—Признаюсь вам, что мне стоит некоторого труда примирить этот проект с тревожными перспективами, которые мне открыло ваше заявление.

Лицо великого князя внезапно темнеет:

—Я никогда не позволю себе оспаривать мнение его величества, кроме тех случаев, когда он сделает мне честь спросить моего мнения...

Нам приходят сказать, что император ждет нас к чаю.

Великий князь ведет меня с собой. По пути он показывает мне свой вагон, помещение, столь же остроумно устроенное, сколь и комфортабельное. Его спальня, освещаемая четырьмя окнами, на одной стороне вагона, заключает в себе лишь очень простую мебель; но стены совершенно покрыты иконами: их, по крайней мере, двести.

После чаю император ведет меня в кинематограф, устроенный в сарае. Длинный ряд живописных картин изображает недавние действия русских армий в областях Чороха и Агры-Дага.

Смотря на эти гигантские стены восточной Армении, этот хаос громадных гор, эти остроконечные и изрезанные хребты, я постигаю, каково должно быть мужество русского солдата, чтобы подвигаться вперед в такой стране, при тридцати градусах мороза и беспрерывной снежной буре. По окончании сеанса император уводит меня в свой вагон, где я с ним прощаюсь.

В половине восьмого я уезжаю с Сазоновым в Петербург.

XVI.

Сражение на Дунайце. Очищение Польши и Литвы.

Суббота, 24 апреля 1915 г.

Большое наступление, о котором об'являл мне некогда в Барановичах император,—теперь началось.

В северных Карпатах русские развивают энергичные действия против Утока, обладание которым необходимо им для того, чтобы затем итти на Краков.

Император об'езжает в настоящее время галицийский фронт и вчера был во Львове.

Вторник, 4 мая 1915 г.

Вот уже два дня, как германцы и австрийцы большими силами аттакуют русский фронт, на участке между Вислой и Карпатами. Они неудержимо стремятся на восток; их правое крыло уже перешло нижнее течение Дунайца, впадающего в Вислу в 15 верстах выше Кракова.

Четверг, 6 мая 1915 г.

Положение русских между Вислой и Карпатами становится критическим. После очень упорных боев у Тарнова, у Горлицы, у Ясло, они спешно отхо-

дят за Дунаец и Вислок. Потери их громадны; число пленных доходит до 40.000.

Воскресенье, 9 мая 1915 г.

От Утокского перевала до Вислы, т. е. на протяжении 200 верст, галицийская битва продолжается с ожесточением.

Русские везде отступают. Быстрота их отхода грозит вскоре сделать невозможным удержание позиций, расположенных на Ниде и лежащих к северу от Вислы.

Вторник, 12 мая 1915 г.

В Дарданеллах англо-французы методически продвигаются, каждую ночь закрепляя окопами участки, занятые днем. Турки сопротивляются с необычайным упорством.

Русское общество интересуется малейшими подробностями боев; оно не сомневается в их конечном результате и уверено в скором конце. В своем воображении оно уже видит, как союзные эскадры проходят Геллеспонт и становятся на якоре перед Золотым Рогом и это заставляет его забывать галицийские поражения. Как всегда, русские ищут в мечтах забвения действительности.

Четверг, 20 мая 1915 г.

По рассчетам русского штаба силы австро-германцев, брошенные против России, насчитывают не менее 55 армейских корпусов и 20 кавалерийских дивизий. Из этих 55 корпусов три только что прибыли из Франции.

Среда, 26 мая 1915 г.

Следующие друг за другом неудачи русских войск дают повод Распутину утолить непримиримую ненависть, которую он давно питает к великому князю Николаю Николаевичу. Он все время интригует против верховного главнокомандующего, обвиняя его в полном незнакомстве с военным искусством и в том, что он желает только создать себе в армии популярность дурного рода, с тайною мыслью свергнуть императора. Характер великого князя и все его прошлое достаточно опровергают последнее обвинение; но я знаю, что государь с государыней им встревожены.

Понедельник, 31 мая 1915 г.

Сегодня я был с визитом у председателя Государственной Думы Родзянко, чей горячий патриотизм и могучая энергия часто придавали мне бодрости.

Но теперь первое впечатление при виде его тяжело меня поразило. Его лицо осунулось, стало зеленоватым, нос заострился. Его великолепная фигура, обычно такая прямая, кажется согнувшейся под непосильной ношей. Садясь против меня, он тяжело обрушился всем телом, долго покачивал головой, тяжело вздохнул и, наконец, сказал:

— Вы видите меня очень мрачным, мой дорогой посол..... О, ничего еще не потеряно, напротив ... Нам, без сомнения, необходимо было это испытание, чтобы встряхнуться от дремоты, чтобы заставить нас вновь овладеть собою и обновиться.

И мы проснемся, мы овладеем собою, мы обновимся!.... Даю вам слово, что да!...

Он рассказывал мне затем, что последние поражения русской армии, понесенные ею ужасные потери, крайне опасное положение, в котором она еще отбивается с таким геройством,—все это очень возволновало общественное мнение. За последние недели он получил из провинции более трехсот писем, показывающих, до какой степени страна встревожена и возмущена. Со всех сторон поднимается одна и та же жалоба: бюрократия неспособна дать организацию производственному напряжению народа и создать военное снабжение, без которого армия будет терпеть поражение за поражением.

— Поэтому,—продолжал он,—я испросил аудиенцию у государя, и он соизволил тотчас меня принять. Я высказал ему всю истину; я показал ему, как велика опасность; я без труда ему доказал, что наша администрация неспособна своими собственными средствами разрешить технические задания войны, и что для того, чтобы пустить в действие все живые силы страны, чтобы усилить добычу сырья, чтобы согласовать работу всех заводов, необходимо обратиться к содействию частных лиц. Государь изволил согласиться, и я даже добился от него немедленного проведения важной реформы: сейчас учреждено Особое Совещание по снабжению армии, под председательством военного министра. Совет составляют четыре генерала, четыре члена Государственной Думы, я в том числе, и четыре представителя металлургической промышленности. Мы принялись за работу, не теряя ни одного дня.

Среда, 2 июня 1915 г.

Сегодня я обедал, очень интимно, с виднейшим русским заводчиком - металлургом и финансистом, богачем П. Я всегда получаю и удовольствие, и пользу от встреч с этим дельцом, человеком оригинальной психологии; он обладает в высшей степени основными качествами американского business-man'a: духом инициативы и творчества, любовью к широким предприятиям, точным пониманием действительного и возможного, сил и ценностей; и тем не менее он остается славянином по некоторым сторонам своей внутренней сущности и по такой глубине пессимизма, какой я не видал еще ни у одного русского.

Он один из четырех промышленников, заседающих в Особом Совещании по снабжению, учрежденном при военном министерстве. Его первые впечатления очень плачевны. Дело заключается не только в том, чтобы разрешить техническую задачу, задачу постановки труда и выработки; но в том, что необходима коренная перестройка всего административного механизма России, сверху донизу. Обед заканчивается—а мы все еще не исчерпали этой темы.

Как только мы закуриваем сигары, приносят еще шампанского, и мы рассуждаем о будущем. П. дает волю своему пессимизму. Он описывает мне роковые последствия надвигающихся катастроф и скрытый процесс постепенного упадка и распадения, подтачивающий здание России.

— Дни царской власти сочтены; она погибла, погибла безвозвратно; а царская власть—это основа, на которой построена Россия, единственное, что удерживает ее национальную целость.... Отныне

революция неизбежна; она ждет только повода, чтобы вспыхнуть. Поводом послужит военная неудача, народный голод, стачка в Петрограде, мятеж в Москве, дворцовый скандал или драма—все равно..... но революция—еще не худшее зло, угрожающее России. Что такое революция, в точном смысле этого слова?.. Это замена, путем насилия, одного режима другим. Революция может быть большим благополучием для народа, если, разрушив, она сумеет построить вновь. С этой точки зрения, революции во Франции и в Англии кажутся мне скорее благотворными. У нас же революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь слабое меньшинство, лишенное организации и политического опыта, не имеющее связи с народом. Вот, по моему мнению, величайшее преступление царизма: он не желал допустить, помимо своей бюрократии, никакого другого очага политической жизни. И он выполнил это так удачно, что в тот день, когда исчезнут чиновники, распадется целиком само русское государство. Сигнал к революции дадут, вероятно, буржуазные слои, интеллигенты, кадеты, думая этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы тотчас перейдем к революции рабочей, а немного спустя, к революции крестьянской.

Тогда начнется ужасающая анархия, бесконечная анархия... анархия на десять лет... Мы увидим вновь времена Пугачева, а может быть и еще худшие...

Пятница, 4 июня 1915 г.

Австро-германцы продолжают продвигаться вдоль правого берега Сана, вследствие чего русские не смогли удержаться в Перемышле: крепость была вчера очищена.

От начала боев в мае месяце на реке Дунайце, число пленных, оставленных русскими в руках противника, достигает приблизительно 300.000 человек.

Воскресенье, 6 июня 1915 г.

Русское общественное мнение тем более взволновано галицийским поражением, что на быстрый успех в Дарданеллах у него остается уже мало надежды.

Но во всех слоях общества, и особенно в провинции, выявляется новое течение. Вместо того, чтобы предаваться унынию, как под ударами прежних неудач, общество протестует, возмущается, приходит в движение, требует решений и лекарств, заявляет о своей воле к победе. Сазонов сказал мне сегодня следующее:

— Вот настоящий русский народ... Теперь мы увидим великолепное пробуждение национального чувства... Все политические партии, исключая, разумеется, крайнюю правую, требуют немедленного созыва Думы, чтобы положить конец неумелости военного управления и организовать гражданскую мобилизацию страны.

Пятница, 11 июня 1915 г.

В течение последних нескольких дней Москва волновалась. Слухи об измене ходили в народе; обвиняли громко императора, императрицу, Распутина и всех придворных, пользующихся влиянием.

Серьезные беспорядки возникли вчера и продолжаются сегодня. Много магазинов, принадлежащих немцам или носящих вывески с немецкими фамилиями, было разграблено.

Суббота, 12 июня 1915 г.

Порядок в Москве восстановлен. Вчера вечером войска должны были пустить в ход оружие.

Вначале полиция дала погромщикам возможность действовать, чтобы доставить некоторое удовлетворение чувствам гнева и стыда, вызванным в московском народе галицийским поражением. Но движение приняло такие размеры, что пришлось прибегнуть к вооруженной силе.

Воскресенье, 13 июня 1915 г.

Московские волнения носили чрезвычайно серьезный характер, недостаточно освещенный отчетами печати.

На знаменитой Красной Площади, видевшей столько исторических сцен, толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и проч.

Шумные манифестации направились также к Марфо-Мариинскому монастырю, где игуменьей состоит великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы и вдова великого князя Сергея Александровича. Эта прекрасная женщина, изнуряющая себя в делах покаяния и молитвы, была осыпана оскорблениями: простой народ в Москве давно убежден, что она—немецкая шпионка и даже—что она скрывает у себя в монастыре своего брата, великого герцога гессенского.

Эти известия вызвали ужас в Царском Селе. Императрица горячо обвиняет князя Юсупова, московского генерал-губернатора, который, по своей

слабости и непредусмотрительности, подверг императорскую семью подобным оскорблениям.

Император принял вчера председателя Думы Родзянко. Последний изо всех сил настаивал на немедленном созыве Государственной Думы. Государь выслушал его сочувственно, но ничего не высказал относительно своих намерений.

Понедельник, 14 июня 1915 г.

Со времени оставления Перемышля русская армия в Средней Галиции оборонялась с крайним упорством между Саном и Вислой, чтобы прикрыть Львов. Сейчас ее фронт прорван к востоку от Ярослава. Германцы захватили 15000 пленных.

Вторник, 15 июня 1915 г.

Председатель Совета министров, Горемыкин, удрученный и годами, и происходящими событиями, умолял императора принять его отставку. Получив лишь уклончивый ответ, он говорил вчера одному из своих друзей: „Государь не видит, что уже свечи зажжены вокруг моего гроба и только меня и ожидают для отпевания"...

Среда, 16 июня 1915 г.

По признанию, сделанному г-жей Вырубовой графине N, министр внутренних дел Н. А. Маклаков, обер-прокурор св. синода Саблер и министр юстиции Щегловитов делают величайшия усилия, чтобы убедить государя не созывать Думы и чтобы доказать ему даже, что Россия не может более продолжать войну.

В вопросе о Думе царь остается непроницаем, несмотря на то, что царица всеми силами поддерживает мнение этих министров. Что же касается продолжения войны, то Николай II выразился об этом с такой силой, какой от него не ждали:

„Заключить мир теперь — это значит одновременно—бесчестье и революция. Вот что осмеливаются мне предлагать"...

Императрица не менее энергично заявляет, что если бы Россия теперь бросила своих союзников, она покрыла бы себя вечным стыдом; но она убеждает императора не делать никакой уступки парламентаризму и повторяет ему: „Помните, больше, чем когда-либо, что вы—самодержец Божиею милостью. Бог не простил бы вам, если бы вы изменили той миссии, которую он поручил вам на земле".

Пятница, 18 июня 1915 г.

Сегодня утром мы встретились с Бьюкененом в министерстве иностранных дел, и у обоих была одна мысль:

— Сегодня сотая годовщина Ватерлоо...

Но сейчас не время для иронической игры историческими сопоставлениями; мы получили действительно важное известие: министр внутренних дел Маклаков уволен от своих обязанностей; его заместитель—князь Щербатов, начальник главного управления государственного коннозаводства.

Сазонов ликует. Отставка Маклакова ясно показывает, что император остается верен политике союза и решил продолжать войну.

Что касается нового министра внутренних дел, он до сих пор не пользовался никакой известностью. Но Сазонов изображает его человеком умеренным, здравомыслящим и испытанным патриотом.

Суббота, 19 июня 1915 г.

Великий князь Константин Константинович, родившийся в 1858 году, внук Николая I, младший брат вдовствующей королевы греческой, женатый на принцессе Елизавете саксен-альтенбургской, скончался третьяго дня в Павловске, где он жил в уединении от света.

Сегодня в 6 часов тело с большою торжественностью перевезено в Петропавловский собор, в крепость, служащую Романовым одновременно государственной тюрьмой и усыпальницей.

Император и все великие князья следуют пешком за траурной колесницей. От паперти собора до катафалка, выдвинутого перед иконостасом, они несут громадный гроб на руках.

Служба, являющаяся лишь предшествием торжественного отпевания, сравнительно коротка для православного богослужения; все же она продолжается не менее часа.

Император, императрицы, вдовствующая и нынешняя, все великие князья и княгини, князья императорской крови—все они здесь, стоят по правую сторону катафалка; дипломатический корпус собран около них.

Таким образом я нахожусь в нескольких шагах от императора и могу свободно его рассматривать. За-три месяца, что я его не видел, он заметно изменился: поредевшие волосы местами подернулись сединою; лицо исхудало; взгляд строг и направлен куда-то вдаль.

Слева от него, вдовствующая императрица стоит неподвижно, выпрямив голову, с величественной осанкой, словно священнодействуя; величие не покидает ее ни на мгновение, несмотря

на то, что ей 68 лет. Рядом с нею императрица Александра Федоровна держится напряженно и пересиливает себя. Поминутно ее мраморное лицо бледнеет, и нервное, прерывистое дыхание подымает верхнюю часть груди. Непосредственно подле нее и в том же ряду великая княгиня Мария Павловна стоит также прямо, с тою же твердостью, тою же величавостью, что и вдовствующая императрица. За нею рядом стоят четыре дочери императора; старшая, Ольга, все время бросает на свою мать беспокойные взгляды.

В отступление от православных обычаев за обеими императрицами и за великой княгиней Марией Павловной поставлены три кресла.

Императрица Александра, для которой стоять мучительно, четыре раза принуждена садиться. Каждый раз она при этом закрывает глаза рукой, как бы извиняясь за свою слабость. Две ее соседки, напротив, отнюдь не склоняясь, выпрямляются насколько возможно, противопоставляя, таким образом, с молчаливым осуждением, гордое величие предыдущего царствования расслабленности нынешнего двора.

Во время долгой и скучной панихиды, мне представляют нового министра внутренних дел, князя Щербатова. У него умное и открытое лицо, голос проникнут теплотою, вся его фигура внушает симпатию. Сразу же он говорит мне:

— Моя программа проста. Инструкции, которые я дам губернаторам, могут быть сведены к словам: *Все для войны до полной победы.* Я не потерплю никакого беспорядка, никакой слабости, никакого упадка духа.

Я поздравляю его с такими намерениями и настаиваю на необходимости обратить отныне все производственные силы страны на снабжение армии...

Воскресенье, 20 июня 1915 г.

Пробуждение национальных сил проявило себя вчера, в Москве, захватывающим образом. Земский союз и союз городов собрались там на с'езд. Председательствующий князь Львов ярко осветил неспособность администрации мобилизовать силы страны для обслуживания армии: „Задача, стоящая перед Россией, заявил он, во много раз превосходит способности нашей бюрократии. Разрешение ее требует усилия всей страны в ее целом. После 10 месяцев войны—мы еще не мобилизованы. Вся Россия должна стать обширной военной организацией, громадным арсеналом для армии"...

Практическая программа была тотчас выработана. Наконец-то Россия на правом пути...

Понедельник, 21 июня 1915 г.

В половине одиннадцатого утра я приехал в Петропавловский собор, чтобы присутствовать на торжественном отпевании великого князя Константина Константиновича.

Утомленная службой, бывшею третьяго дня, императрица Александра Федоровна не могла прибыть. Вдовствующая императрица и великая княгиня Мария Павловна торжествуют, стоя только, вдвоем в первом ряду, рядом с императором.

Заупокойное служение продолжается два часа и протекает с необычайною пышностью в смене грандиозных и патетических обрядов.

Интересно при этом наблюдать за императором. Ни на мгновение не замечаю в нем равнодушия или невнимательности; его набожность глубока и естественна. Иногда он закрывает наполовину глаза,

и когда открывает их вновь, его взгляд кажется светящимся каким-то внутренним сиянием.

Наконец, бесконечная литургия заканчивается. Присутствующим раздают свечи, как символ того вечного света, который открывается душе покойного. Вся церковь наполняется тогда ослепительным блеском, в котором чудесно сверкают золото и драгоценные камни иконостаса. Неподвижный, с сосредоточенным лицом, с остановившимися зрачками, император смотрит перед собой вдаль, на то невидимое, что лежит за земными пределами, за границами нашего призрачного мира...

Вторник, 22 июня 1915 г.

Сегодня утром в присутствии государя происходит спуск броненосного крейсера в 32000 тонн, „Измаил", построенного на эллингах Васильевского Острова, в том месте, где Нева выходит из Петрограда; присутствуют также дипломатический корпус и члены правительства.

Погода прекрасная, церемония столь же внушительная, сколь живописная. Но гости как будто не интересуются зрелищем. Перешептываются в группах, с встревоженными лицами: только что получено известие, что русская армия отходит от Львова.

Государь невозмутимо выполняет все обряды церемонии спуска. Он снимает фуражку, когда благословляют корабль. Яркий свет солнца оттеняет от углов его глаз две темные и глубокие морщины, которых там не было вчера.

Между тем, громадное судно движется к Неве медленно и неудержимо, сильное волнение идет по реке; причалы натягиваются—и „Измаил" величественно останавливается.

Прежде чем уехать, император осматривает мастерские, куда поспешно вернулись рабочие. Он остается там около часа, часто останавливаясь, чтобы поговорить, с той спокойной любезностью, полной достоинства и внушающей к себе доверие, благодаря которой он так умеет подходить к меньшей братии. Горячие приветствия, возгласы, словно вырывающиеся из всех грудей, провожают его до самого конца обхода. А между тем, мы здесь находимся в самом очаге русского анархизма...

Когда мы расстаемся с императором, я поздравляю его с тем приемом, который он встретил в мастерских. Его глаза светятся грустной улыбкой. Он мне отвечает:

— Ничто так благотворно на меня не действует, как чувствовать себя в соприкосновении с моим народом. И сегодня я нуждался в этом.

Среда, 23 июня 1915 г.

Издатель „Нового Времени", Суворин, пришел ко мне, чтобы поделиться своим унынием:

— У меня больше нет надежды,—сказал он мне.—Отныне мы обречены на ряд потрясений.

Я возражаю ему указанием на взрыв энергии, которым охвачен сейчас весь русский народ и который только что сказался в Москве принятием практических решений. Он ответил:

— Я знаю свою страну. Этот под'ем не продлится долго. Немного времени пройдет—и мы вновь погрузимся в апатию. Сегодня мы нападаем на чиновников; мы обвиняем их во всех тех несчастиях, которые случились с нами—и мы в этом правы, но мы не можем без них обойтись. Завтра, по лености, по слабости, мы сами отдадим себя опять в их когти...

Четверг, 24 июня 1915 г.

Катаясь сегодня днем по островам с г-жею В., я передавал ей те речи, полные уныния, что слышал вчера от Суворина.

— Будьте уверены,—отвечала она мне,—что тысячи русских людей думают совершенно также. Тургенев, знавший нас в совершенстве, пишет в одном из своих рассказов, что русский человек проявляет необыкновенное мастерство для того, чтобы провалить все свои предприятия. Мы собираемся взлезть на небо. Но только что отправившись, замечаем, что небо ужасно высоко. Тогда мы думаем только о том, как бы упасть возможно скорее, и ушибиться как можно больнее...

XVII.

Национальное пробуждение.

Пятница, 25 июня 1915 г.

Император уехал сегодня в ставку верховного главнокомандующего, в Барановичи. Его сопровождают министры, в виду предстоящего важного совещания с великим князем Николаем Николаевичем. Я знаю, что Сазонов, министр финансов Барк, министр земледелия Кривошеин и министр внутренних дел князь Щербатов будут добиваться немедленного созыва Государственной Думы. Их противниками выступят председатель Совета министров Горемыкин, министр юстиции Щегловитов, министр путей сообщения Рухлов и обер-прокурор св. синода Саблер.

Перед тем, как покинуть Царское Село, император по собственному почину принял решение, напрашивавшееся уже слишком давно. Он освободил от обязанностей военного министра генерала Сухомлинова и назначил ему заместителем члена Государственного Совета, генерала Алексея Андреевича Поливанова.

Генерал Сухомлинов несет тяжелую ответственность. Его роль в деле недостатка снарядов была столько же зловеща, как и таинственна. 28 сентября минувшего года, отвечая на мой вопрос, поставленный ему оффициально от имени генерала Жоффра, он заверил меня письменно, что приняты

все меры, дабы обеспечить русскую армию полным количеством снарядов, какое требуется для долгой войны. Неделю назад я говорил об этой бумаге Сазонову, который попросил меня передать ее ему, чтобы показать императору; император был поражен. Не только не было принято никаких мер для того, чтобы удовлетворить все возрастающим потребностям русской артиллерии,—но с тех пор генерал Сухомлинов предательским образом старался проваливать нововведения, которые ему предлагались для развития производства снарядов. Поведение странное, загадочное, об'яснения которому нужно искать, может быть, в жестокой ненависти, которую военный министр питает к великому князю Николаю Николаевичу: Сухомлинов не может ему простить назначения его верховным главнокомандующим, тогда как он наверняка рассчитывал получить эту должность.

Генерал Поливанов—человек образованный, деятельный и работоспособный; он обладает духом организации и командования. Кроме того, ему приписывают либеральные убеждения, вызывающие сочувствие к нему со стороны Государственной Думы.

Понедельник, 28 июня 1915 г.

Сазонов, вернувшийся из ставки, привез оттуда хорошие впечатления, по крайней мере, что касается состояния духа верховного командования.

— Русская армия,—говорит он мне,—будет продолжать свое отступление как можно медленнее, пользуясь каждым случаем, чтобы производить контр-атаки и тревожить противника. Если великий князь Николай Николаевич заметит, что немцы уводят часть своих сил для переброски их на за-

падный фронт, он тотчас перейдет опять в наступление. Принятый им оперативный план позволяет ему надеяться, что наши войска смогут удержаться в Варшаве еще месяца два. Вообще, я нашел состояние духа в штабе верховного главнокомандующего превосходным...

Что касается вопросов политики, то он заявил мне, что император торжественным рескриптом обратится с призывом ко всем силам страны; тот же рескрипт об'явит о скором созыве Государственной Думы.

Был рассмотрен также и польский вопрос. Император повелел учредить комиссию, в составе шести членов русских и шести поляков, под председательством Горемыкина, для установления основ автономии, обещанной Царству манифестом 16 августа 1914 года. Министр юстиции Щегловитов и обер-прокурор св. синода Саблер умоляли, заклинали императора отказаться от этой мысли, указывая ему, что автономия какой-либо части империи несовместима со священнейшими основами самодержавного правления. Их настойчивость не только не убедила императора, но и не понравилась ему. Говорят даже, что они будут освобождены от своих обязанностей.

Среда, 30 июня 1915 г.

Сегодня в газетах напечатан высочайший рескрипт на имя председателя совета министров, помеченный 27-м июня:

„Со всех концов родной земли доходят до меня обращения, свидетельствующие о горячем стремлении русских людей приложить свои силы к делу снабжения армии. В этом единодушии народном я почерпаю непоколебимую уверенность в светлом будущем.

Затянувшаяся война требует все нового напряжения. Но в одолении возрастающих трудностей и в неизбежных превратностях военного счастья крепнет и закаляется в наших сердцах решимость вести борьбу до полного, с Божией помощью, торжества русского оружия. Враг должен быть сломлен. До того не может быть мира.

С твердой верой в неиссякаемые силы России я ожидаю от правительственных и общественных учреждений, от русской промышленности и от всех верных сынов родины, без различия взглядов и положений, сплоченной, дружной работы для нужд нашей доблестной армии. На этой, единой отныне, всенародной задаче должны быть сосредоточены все помыслы об'единенной и неодолимой в своем единстве России"...

Рескрипт об'являет, наконец, о скором созыве Государственного Совета и Государственной Думы.

Высочайший рескрипт, распубликованный три дня назад, волнует умы. Со всех сторон требуют немедленного созыва Думы; требуют даже установления ответственности министров перед законодательными учреждениями, что явилось бы ничем иным, как концом самодержавия.

Наблюдается возбуждение среди рабочих. Один из моих осведомителей, Б., сообщает мне об усилении социалистической пропаганды в казармах особенно в гвардейских. Павловский и Волынский полки, будто бы, уже довольно сильно заражены.

Понедельник, 12 июля 1915 г.

Согласно получаемым мною сведениям, москвичи в высшей степени возмущены поведением петроградского общества и придворных кругов; они

обвиняют их в потере всякого национального чувства, в желании поражения, в подготовке к измене.

Поединок, который, вот уже скоро два столетия идет между метрополией православного славянства и искусственной столицей Петра Великого, никогда, быть может, не был оживленнее, даже в героические времена борьбы западничества и славянофильства...

Воскресенье, 18 июля 1915 г.

Вот уже три дня, как опасное положение русских армий значительно ухудшилось: они должны уже не только бороться против неудержимого натиска австро-германцев между Бугом и Вислой, но и выдерживать двойное наступление, начатое противником на севере, на фронте Нарева и в Курляндии.

В районе Нарева германцы овладели позициями у Млавы, где захватили 17000 пленных; в Курляндии перешли р. Виндаву, овладели Виндавой и угрожают Митаве, расположенной лишь в 50 верстах от Риги.

Такое положение как будто укрепляет императора в его намерениях, столь своевременно выраженных манифестом 27 июня. В связи с этим он уволил обер-прокурора св. синода Саблера, орудие пацифистской и германофильской партии, клеврета Распутина. Его заместитель—Александр Дмитриевич Самарин, московский губернский предводитель дворянства; высокое общественное положение, великодушный патриотизм, ум широкий и твердый—вот его качества; этот выбор прекрасен.

Понедельник, 19 июля 1915 г.

Немилость, поразившая вчера обер-прокурора св. синода, коснулась и министра юстиции Щегловитова, ни в чем не уступавшего Саблеру в качестве реакционера, проникнутого духом самодержавия. Его заместитель, член Государственного Совета Александр Алексеевич Хвостов — честный и беспартийный чиновник.

Последовательная отставка Маклакова, Сухомлинова, Саблера, Щегловитова не оставила среди членов правительства ни одного, кто бы не являлся сторонником союза и решительного продолжения войны. С другой стороны отмечают, что Саблер и Щегловитов были главнейшей поддержкой Распутина.

Графиня Н. говорила мне:

— Государь воспользовался своим пребыванием в ставке для принятия этих важных решений. Он ни с кем не посоветовался, даже с императрицей... Когда известие об этом пришло в Царское Село, она была потрясена; она отказывалась даже верить... Г-жа Вырубова в отчаянии... Распутин заявляет, что все это предвещает большие несчастья.

Вторник, 20 июля 1915 г.

Совещание с начальником главного управления генерального штаба.

Генерал Беляев указывает мне на карте положение русских армий. В южной Польше, между Бугом и Вислой, их фронт идет через Грубешов, Красностав и Иозегров, в 30 верстах к югу от Люблина. Кругом Варшавы они оставили течения Бзуры и Равки, чтобы отойти по дуге круга, образованной Ново-Георгиевском, Головиным, Блоне,

Гродиском, где приготовлены сильные укрепления. В районе Нарева они держатся приблизительно по течению реки, между Ново-Георгиевском и Остроленкой. К западу от Немана обороняют, в Мариампольском направлении, подступы к Ковно. Наконец, на курляндском участке, после оставления Виндавы и Туккума, они опираются на Митаву и Шавли.

После некоторых мало-утешительных замечаний об этом положении, генерал Беляев продолжает:

— Вы знаете нашу бедность в снарядах. Мы производим не более 24.000 снарядов в день. Это ничтожно для такого растянутого фронта... Но недостаток в винтовках меня беспокоит гораздо больше. Представьте себе, что во многих пехотных полках, принимавших участие в последних боях, треть людей, по крайней мере, не имела винтовок. Эти несчастные терпеливо ждали под градом шрапнелей гибели своих товарищей впереди себя, чтобы пойти и подобрать их оружие. Что в таких условиях не случилось паники--это просто чудо. Правда, что у нашего мужика такая сила терпения и покорности... Ужас оттого не меньше... Один из командующих армиями писал мне недавно: „В начале войны, когда у нас были снаряды и амуниция, мы побеждали. Когда уже начал ощущаться недостаток в снарядах и оружии, мы еще сражались блестяще. Теперь, с онемевшей артиллерией и пехотой, наша армия тонет в собственной крови“... Сколько времени еще наши солдаты смогут выдерживать подобное испытание?.. Ведь, в конце концов, побоища эти слишком ужасны. Во что бы то ни стало нам нужны винтовки. Не могла ли бы Франция нам их уступить? Умоляю вас, господин посол, поддержите нашу просьбу в Париже.

— Я горячо буду ее поддерживать; я телеграфирую сегодня же.

Четверг, 22 июля 1915 г.

Распутин уехал к себе на родину, в село Покровское, около Тюмени, в Тобольской губернии. Его приятельницы, „распутинки", как их называют, утверждают, что он отправился отдохнуть немного, „по совету своего врача", и скоро вернется. Истина же в том, что император повелел ему удалиться.

Это новый обер-прокурор св. синода добился приказа об удалении.

Едва вступив в исполнение своих обязанностей, Самарин доложил императору, что ему невозможно будет их сохранить за собою, если Распутин будет продолжать тайно господствовать над всем церковным управлением. Затем, опираясь на московскую древность своего происхождения, он описал возмущение, смешанное со скорбью, которое скандалы „Гришки" поддерживают в Москве — возмущение, не останавливающееся даже перед престижем высочайшего имени. Наконец он заявил решительным тоном:

— Через несколько дней соберется Государственная Дума. Я знаю, что некоторые депутаты предполагают предъявить мне запрос о Григории Ефимовиче и его тайных махинациях. Моя совесть принудит меня высказать все, что я думаю.

Император ответил просто:

— Хорошо. Я подумаю.

Четверг, 29 июля 1915 г.

Проходя через сквер, окамляющий Фонтанку недалеко от мрачного дворца, где, 23 марта 1801 года, Павел I был с такою быстротою умерщвлен, я встречаюсь с Александром Сергеевичем Танеевым.

Статс-секретарь, обер-гофмейстер высочайшего Двора, член Государственного Совета, главноуправляющий собственной е. и. в. канцелярией — Танеев — отец Анны Вырубовой и одна из главных опор Распутина.

Мы проходим вместе по саду несколько шагов. Он расспрашивает меня о войне. Я высказываю безусловный оптимизм и даю ему высказаться. Сначала он как будто соглашается со всем, что я ему говорю: но скоро, в более или менее туманных фразах, он изливает свою тревогу и огорчение. Один пункт, на котором он настаивает, привлекает мое внимание, так как уже не в первый раз мне на него указывают:

— Русские крестьяне,—говорит он,—обладают глубоким чувством правосудия, не законного правосудия, которое они не очень-то хорошо отличают от полиции, но правосудия нравственного, правосудия божественного. Это странное явление: их совесть, обыкновенно не очень щекотливая, так, между тем, проникнута христианством, что на каждом шагу ставит перед ними вопросы возмездия и наказания. Когда мужик чувствует себя жертвой несправедливости, он кланяется, как можно чаще—и ни слова не говоря, потому что он фаталист и безропотен; но он бесконечно обдумывает то зло, которое ему сделали, и говорит себе, что за это будет заплачено, рано или поздно, на земле или на Божьем Суде. Будьте уверены, господин посол, что все они так же рассуждают и о войне. Они согласятся на какие угодно жертвы, лишь бы чувствовать их, как законные и необходимые, т. е. совершающиеся волею царскою и волею Божиею. Но если от них требуют жертв, необходимость которых от них ускользает, рано или поздно они потребуют отчета. А когда мужик перестает быть по-

корным, он становится страшен. Вот что меня пугает...

Так как вся психология русского народа содержится в Толстом, мне нужно только перелистать несколько томов, чтобы найти, в захватывающей форме, то, что мне сейчас сказал Танеев. Подбирая доводы в пользу вегетарианства, яснополянский апостол заключает одну из своих статей отвратительным описанием бойни...

С тех пор как, вот уже три месяца, русская кровь, не иссякая, течет на равнинах Польши и Галиции, сколько мужиков должны думать: „Неужели возможно, чтобы о н и так не ответили за все это?".

Пятница, 30 июля 1915 г.

Сессия Государственной Думы возобновляется через три дня. Но уже много депутатов с'ехались в Петроград, и в Таврическом дворце большое оживление.

Из всех губерний доносится тот же возглас: „Россия в опасности. Правительство и верховная власть ответственны за военный разгром. Спасение страны требует непосредственного участия и непрестанного контроля народного представительства. Более, чем когда-либо, русский народ решительно стоит за продолжение войны до победы"...

Почти во всех группах депутатов слышатся энергичные, раздраженные, полные возмущения возгласы против фаворитизма и взяточничества, против игры немецких влияний при дворе и в высшей администрации, против Сухомлинова, против Распутина, против императрицы.

В противовес этому, депутаты крайней правой, члены „черного блока", выражают сожаление по

поводу уступок, сделанных государем либеральной партии, и решительно высказываются за реакцию до крайних пределов...

Суббота, 31 июля 1915 г.

Сегодня утром государь присутствует при спуске броненосного крейсера „Бородино", построенного на верфи на Галерном острове, в устье Невы. Дипломатический корпус, Двор и члены правительства участвуют в церемонии, которой благоприятствует сияние солнца.

22-го минувшего июня, на противоположном берегу, мы присутствовали при спуске „Измаила"; тогда только что было получено сообщение об оставлении Львова. Сегодня, приехав на Галерный остров, мы узнаем, что австро-германцы заняли вчера Люблин и что русские оставляют Митаву...

Яркий солнечный свет подчеркивает свинцовый оттенок и выражение тоскливой печали на лицах. Император, застывший в бесстрастной позе, смотрит задумчивым и отсутствующим взглядом. Иногда его губы подергиваются судорогой, словно он удерживается от зевоты. Едва лишь на мгновение оживляется его лицо, когда киль „Бородина", скользнув по каткам, врезывается в Неву.

По окончании церемонии мы переходим к осмотру мастерских. Императора всюду приветствуют. Время от времени он останавливается и, улыбаясь, разговаривает с рабочими. Когда он затем идет дальше, приветственные крики усиливаются.

А между тем, еще вчера мне сообщали, что в этих самых мастерских идет революционное брожение, внушающее беспокойство.

Воскресенье, 1 августа 1915 г.

Занятия Государственной Думы возобновились сегодня, в жаркой и тяжелой атмосфере, предвещающей грозу. Лица словно источают электричество; господствующее выражение—гнев или тоска.

Старый председатель Совета министров, Горемыкин, произнося речь от имени государя, возвышает свой умирающий голос, насколько может, когда заявляет: „Все наши мысли, все наши усилия должны сосредоточиться на ведении войны. Правительство может предложить вам только одну программу: программу победы".

Затем военный министр, генерал Поливанов, кратко, горячо и энергично резюмирует эту программу победы: „Наша армия может побеждать только тогда, когда она чувствует за собою всю страну, в ее целом, организованную как огромный резервуар, откуда она сможет бесконечно черпать себе снабжение".

Когда он сходит с трибуны, его приветствуют рукоплесканиями: он встречает в среде собрания столько же сочувствия, сколько его предшественник, Сухомлинов, возбуждал к себе ненависти и презрения.

Продолжение заседаний и разговоры в кулуарах не оставляют никаких сомнений относительно пожеланий или, лучше сказать, требований Государственной Думы: положить конец произволу и неспособности управления; обличить тех, кто подлежит ответственности, как бы они ни были высоко поставлены; потребовать определенных решений, с'организовать совместную работу правительства с народными представителями, чтобы обратить на службу армии все производственные силы страны;

наконец, поддерживать и оживлять в душе народа непоколебимое решение—довести войну до полной победы.

Четверг, 5 августа 1915 г.

Прения в Таврическом дворце разгораются все ярче и ярче. Будь то открытое или закрытое заседание,—произносится непрерывный и беспощадный обвинительный акт против всей системы военного управления. Все ошибки бюрократии изобличены, все пороки царизма выставлены на свет. И одно заключение возвращается, как припев: „Довольно лжи!... Довольно преступлений!... Реформ!... Наказаний!... Государственный строй должен быть изменен сверху донизу!"...

345-ю голосами из 375-ми голосовавших, Государственная Дума сейчас предложила правительству предать суду генерала Сухомлинова и всех должностных лиц, виновных в нерадении или в измене.

Пятница, 6 августа 1915 г.

Германцы заняли вчера Варшаву. С точки зрения стратегической, важность этого события значительна. Русские теряют всю Польшу с ее громадными запасами и должны будут отойти на Буг, Верхний Неман и Двину.

Но моральные последствия беспокоят еще больше.

Не грозит ли разбиться тот под'ем национальной энергии, который с некоторых пор виден по всей России,—разбиться под влиянием этого нового несчастья, предвещающего в скором времени и другие—как падение Осовца, Ковны и Вильны...

Пятница, 13 августа 1915.

Очень деятельный и даже несколько экзальтированный вождь „прогрессивных националистов“ С., бывший гвардейский офицер, просил меня вчера принять его для долгой и конфиденциальной беседы.

Я принял его сегодня, днем, и, как ни привык к его обычному пессимизму, но на этот раз был поражен тем суровым, сосредоточенным и скорбным выражением, которое читал на его лице.

— Никогда,—сказал он,—я не был в такой тревоге. Россия в смертельной опасности; ни в какой момент своей истории она не была так близка к гибели. Немецкий яд, который она носит в своем теле вот уже два столетия, грозит ее убить. Она может быть спасена только посредством национальной революции.

— Революция во время войны?... Вы не думаете, о чем вы говорите!...

— Нет, конечно, я говорю обдуманно. Революция такая, какую я предвижу, какой я желаю, будет внезапным освобождением всех сил народа, великим пробуждением славянской энергии. После нескольких дней неизбежных смут, положим даже—месяца беспорядков и парализованности, Россия встанет с таким величием, какого вы у нас не подозреваете. Вы увидите тогда, сколько духовных сил таится в русском народе. В нем заключаются неисчислимые запасы мужества, энтузиазма, великодушия. Это величайший очаг идеализма, какой только есть на свете.

— Не сомневаюсь в этом. Но русский народ носит в себе страшные задатки социального разложения и национального распада... Вы утверждаете, что революция вызвала бы, самое большее, месяц

беспорядков и бездействия. Как вы можете это знать? Один из ваших соотечественников, один из самых умных и самых проницательных, каких я только знаю, передавал мне недавно тот ужас, который ему внушает угроза революции: „У нас, говорил он, революция может быть только разрушительной и опустошающей. Если Бог нас от нее не избавит, она будет так же ужасна, как и бесконечна. Десять лет анархии"... И он подтверждал свои предвидения доводами и психологическими положениями, показавшимися мне убедительными. Вы понимаете, что при свете этого прогноза, я недоверчиво смотрю на вашу якобы национальную революцию.

Он, тем не менее, продолжает настаивать на восхвалении тех чудодейственных явлений возрождения, которых он ждет от всенародного восстания.

— По самому верху,—говорит он,—по голове, вот куда нужно было бы ударить прежде всего. Государь мог бы быть оставлен на престоле; если ему и не достает воли, он, в глубине души, достаточно патриотичен. Но государыню и ее сестру, великую княгиню Елизавету Федоровну, нужно было бы заточить в один из монастырей Приуралья, так, как сделали бы при наших древних, великих царях. Затем—весь потсдамский двор, вся клика прибалтийских баронов, вся камарилья Вырубовой и Распутина—все они должны быть сосланы в отдаленные места Сибири. Наконец, великий князь Николай Николаевич должен был бы немедленно отказаться от обязанностей верховного главнокомандующего.

— Великий князь Николай Николаевич?.. Вы подозреваете его патриотизм? Вы не считаете его достаточно русским, достаточно настроенным про-

тив немцев?... Чего же вам нужно?... А я то любил представлять его себе, как бойца за Святую Русь—православную, самодержавную и народную...

— Я согласен с вами, что он патриот и что у него есть воля. Но он слишком недостаточен для возложенной на него задачи. Это не вождь, это—икона. А нам необходим вождь!

Он заканчивает весьма точной картиной состояния армии:

— Она все еще великолепна по своему героизму и самоотвержению; но она больше не верит в победу, она знает заранее, что принесена в жертву, как стадо, которое ведут на бойню. Когда-нибудь, и, может быть, скоро, наступит полный упадок духа, пассивная покорность судьбе; она будет бесконечно отступать, не будет больше бороться, не будет сопротивляться. Этот день будет днем торжества нашей немецкой партии. Мы будем принуждены заключить мир... и какой мир!...

Я возражаю ему, что военное положение, как бы плохо оно ни было, далеко не безнадежно; что национальное движение, во главе которого стала Государственная Дума, явилось для того, чтобы внушить веру в себя, и путем методичной, настойчивой деятельности, все ошибки прошлого могут быть исправлены.

— Нет!...—воскликнул он мрачно и решительно.—Государственная Дума недостаточно сильна, чтобы бороться с теми силами, официальными или невидимыми, которыми располагает немецкая партия. Бьюсь об заклад, что меньше, чем через два месяца, она будет обессилена или распущена. Ведь нужно изменить весь государственный строй. Наша последняя надежда на спасение—в национальном государственном перевороте... Положение, господин посол, гораздо более тяжелое, нежели вы думаете.

Знаете ли вы, что говорил мне, час тому назад, лидер октябристов, председатель центрального военно-промышленного комитета А. И. Гучков, человек, которому вы не откажете ни в прозорливости, ни в мужестве... Так вот, он говорил мне, со слезами на глазах: Россия погибла... Больше нет надежды...

Суббота, 14 августа 1915.

Сегодняшнее заседание Думы было заполнено важными и волнующими прениями.

Обсуждали образование комитета по снабжению, который был бы поставлен выше военного министерства. Прения, понемногу расширяясь, обратились в суд над существующим строем.

Один из самых пылких ораторов партии кадет, новочеркасский депутат Аджемов, бросил искру в пороховой погреб: „С самого начала войны, общественное мнение поняло все значение и размеры борьбы: оно поняло, что без организованности всей страны победа будет невозможна. Правительство же этого не поняло, и когда общество ему это об'яснило, оно отказалось понять, оно с презрением оттолкнуло всех, кто предлагал ему помощь. Дело в том, что у военного министра были привилегированные поставщики; заказы передавались по-семейному; существовала целая система покровительства, взаимных одолжений и привилегий. Таким образом, не только не организовали страну—но бросили ее в ужаснейшую разруху... Теперь, наконец, правительство сознает, что без содействия всех общественных сил, наши армии не могут одержать победу; оно сознается в том, что должна быть произведена полная реформа и что эту реформу должны произвести мы. В этом, гос-

пода, торжество общественного мнения и также—урок нашего грозного времени. Ллойд Джордж говорил недавно в палате общин, что, заливая снарядами наших солдат, немцы разбивают цепи русского народа. Это сама истина. Русский народ, отныне свободный, будет устраивать себя для победы"...

Эта речь вызывает взрыв апплодисментов на скамьях левой и центра.

Возбужденный грозовою атмосферой депутат-социалист Чхенкели стремительно входит на трибуну и возглашает анафему „царской тирании, которая привела Россию на край пропасти". Но скоро он доходит до таких бранных выражений, что председатель лишает его слова. Впрочем, его проклятия вызвали чувство неловкости в партиях центра и левой, в своем либерализме остающихся монархическими.

Прения вновь расширяются с выступлением знаменитого московского адвоката В. А. Маклакова. Он доказывает, с помощью могущественной диалектики, необходимость создания, вне военного министерства, комитета снабжения, а также поручения высшего заведывания техническими вопросами одному главноуправляющему, который был бы ответствен перед этим комитетом; таким образом он нападает на принцип всемогущества бюрократии, составляющий основу и условие существования самодержавия. Показавши, что „Россия образец государства, где люди не на своем месте", он продолжает: „Большая часть назначений в среде администрации являются скандалом, вызовом общественному мнению. А когда, иной раз, ошибка и замечена, ее невозможно исправить: престиж власти не позволяет этого. Новое правительство, задача которого—победить Германию, скоро убедится, что еще

труднее—победить чиновников... В переживаемые нами тяжелые часы необходимо, чтобы это кончилось. Страна истощается в жертвах. Мы, ее представители, мы приносим тоже много жертв. Мы отсрочиваем многие из наших требований, мы сдерживаем весь наш гнев. Забывая нашу вражду и нашу законную ненависть, мы оказываем помощь всему тому, с чем мы некогда боролись. Мы поэтому, имеем право требовать, чтобы правительство поступало так же, чтобы оно поставило себя выше всяких партийных или кружковых взглядов, и чтобы оно могло иметь один девиз: „The right men in the right places"!

Правая, очень смущенная, но, в общем патриотично настроенная, и принужденная признать, что пороки чиновничества губят Россию, высказывается, как и большинство, за образование комитета снабжения.

Отныне начат поединок между бюрократической кастой и народным представительством. Примирятся ли они на высоком идеале общего блага?... От этого зависит все будущее России...

Среда, 18 августа 1915 г.

Сегодня ночью, после ожесточенной атаки, германцы заняли Ковно.

У слияния Вислы и Буга, они взяли штурмом выдвинутые укрепления Новогеоргиевска.

Южнее, они подходят к Брест-Литовску.

Взятие Ковны производит сильнейшее впечатление в кулуарах Государственной Думы. Обвиняют в неспособности великого князя Николая Николаевича, говорят об измене со стороны немецкой партии.

Четверг, 19 августа 1915 г.

Сегодня у Сазонова те лихорадочные глаза и бледный цвет лица, какой бывает в плохие дни.

— Послушайте,—сказал он,—что мне сообщают из Софии. Я, впрочем, этому нисколько не удивляюсь.

И он прочел мне телеграмму Савинского, утверждающего, согласно достоверному сообщению, что болгарское правительство уже давно и твердо решило поддержать германские державы и напасть на Сербию.

Пятница, 20 августа 1915 г.

Крепость Новогеоргиевск, последний оплот русских в Польше, в руках германцев. Весь гарнизон, приблизительно 85000 человек, захвачен в плен.

Мой японский коллега, Мотоно, только что проведший несколько дней в Москве, констатировал там прекрасное состояние духа во всем, что касается войны: желание борьбы до крайнего напряжения, принятие заранее величайших жертв, полная вера в конечную победу—все чувства 1812 года.

Воскресенье, 22 августа 1915 г.

Распутин не долго оставался в своей сибирской деревне. Возвратившись три дня назад, он уже имел длинные собеседования с императрицей.

Государь—в действующей армии.

Вторник, 24 августа 1915 г.

Военные неудачи, естественно, вызывают возбуждение на заводах Петрограда, где случаи забасто-

вок и неповиновения повторяются ежедневно. Глава партии „трудовиков" в Государственной Думе, адвокат Керенский, уже будто бы приготовил, как меня уверяют, обширную программу революционных действий, основанную на сотрудничестве рабочих и солдат, он будто бы, сказал буквально: „Если армия не будет за нас, ею будут пользоваться против нас". Поэтому он устраивает смешанные комитеты из солдат и рабочих, которые в день восстания смогли бы принять руководство движением.

Охранное отделение, пристально следящее за этой пропагандой, произвело в последнее время многочисленные аресты на Охте, а также в Выборгской и в Нарвской частях.

XVIII.

Император принимает верховное командование армией.

Среда, 25 августа 1915 г.

Когда, сегодня утром, я вошел к Сазонову, он немедленно об'явил мне бесстрастным, оффициальным тоном:

— Господин посол, я должен сообщить вам важное решение, только что принятое его величеством государем императором, которое я прошу вас держать втайне до нового извещения. Его величество решил освободить великого князя Николая Николаевича от обязанностей верховного главнокомандующего, чтобы назначить его своим наместником на Кавказе, взамен графа Воронцова-Дашкова, которого расстроенное здоровье заставляет уйти. Его величество принимает на себя лично верховное командование армией.

Я спросил:

— Вы об'являете мне не намерение только, но твердое решение?...

— Да, это непоколебимое решение. Государь сообщил его вчера своим министрам, прибавив, что он не допустит никакого обсуждения.

— Император будет действительно исполнять обязанности командующего армией?...

— Да, в том смысле, что он отныне будет пребывать в ставке верховного главнокомандующего и что высшее руководство операциями будет исхо-

дить от него. Но, что касается подробностей командования, то их он поручит новому начальнику штаба, которым будет генерал Алексеев. Кроме того главная квартира будет переведена ближе к Петрограду; ее поместят, вероятно, в Могилеве.

Несколько времени мы сидим молча, глядя друг на друга. Затем Сазонов говорит снова:

— Теперь, когда я сказал вам в оффициальной форме все, что следовало, я могу вам признаться, дорогой друг, что я в отчаянии от решения, принятого государем. Вы помните, что в начале войны он уже хотел стать во главе своей армии, и что все его министры, и я первый, умолили его не делать этого. Наши тогдашние доводы имеют теперь еще большую силу. По всем вероятиям, наши испытания еще далеко не кончились. Нужны месяцы и месяцы, чтобы переформировать нашу армию, чтобы дать ей средства сражаться. Что произойдет за это время? До каких пор принуждены мы будет отступать? Не страшно ли думать, что отныне государь будет лично ответствен за все несчастья, которые нам угрожают? А если неумелость кого-нибудь из наших генералов повлечет за собою поражение, это будет поражение не только военное, но и вместе с тем поражение политическое и династическое.

— Но,—сказал я,—по каким мотивам решился император на такую важную меру, даже не пожелав выслушать своих министров?

— По нескольким мотивам. Во-первых, потому что великий князь Николай Николаевич не смог выполнить свою задачу. Он энергичен и пользуется доверием в войсках, но у него нет ни знаний, ни кругозора, необходимого для руководства операциями такого размаха. Как стратег, генерал Алексеев во много раз его превосходит. И я отлично

понял бы, если бы генерал Алексеев был назначен верховным главнокомандующим.

Я настаиваю:

— Каковы же другие мотивы, заставившие государя самого принять командование?

Сазонов пристально смотрит на меня одно мгновение, печальным и усталым взглядом. Потом он нерешительно отвечает:

— Государь, несомненно, хотел показать, что для него настал час осуществить царственную прерогативу—предводительствовать армией. Никто отныне не сможет сомневаться в его воле—продолжать войну до последних жертв. Если у него были другие мотивы, я предпочитаю их не знать.

Я расстаюсь с ним на этих многозначительных словах.

Вечером я узнал, из самого лучшего источника, что опала великого князя Николая Николаевича давно подготовлялась его непримиримым врагом, бывшим военным министром генералом Сухомлиновым, который, несмотря на свои скандальные злоключения, тайным образом сохранил доверие высочайших особ. Ход военных действий, особенно в последние месяцы, дал ему слишком даже много поводов, чтобы приписать все несчастья армии неспособности верховного главнокомандующего. Он же, кроме того, при поддержке Распутина и генерала Воейкова, понемногу заставил государя с государыней поверить тому, что великий князь стремится создать себе в войсках и даже в народе вредную популярность, с заднею мыслью—быть вознесенным на престол мятежным движением. Восторженные клики, приветствовавшие много раз имя великого князя во время недавних волнений в Москве, доставили его врагам очень сильный довод. Император, однако же, не решился предпри-

нять такое важное решение, как смену главнокомандующего, во время самой критической фазы всеобщего отступления. Главари интриги сказали ему тогда, что нельзя терять времени: генерал Воейков, в ведении которого находится дворцовая охрана, утверждал, что его полиция напала на след заговора, составленного против царствующих особ и главным деятелем которого является один из офицеров, состоящих при них. Так как государь еще упорствовал, было сделано обращение к его религиозному чувству. Императрица и Распутин повторили ему с самой настойчивой энергией: „Когда престол и отечество в опасности, место самодержавного царя—во главе его войск. Предоставить это место другому—значит нарушать волю Божию".

Впрочем, старец от природы чрезвычайно болтлив и не делает тайны из тех речей, которые он держит в Царском Селе. Он говорил о них еще вчера, в тесном кружке, где разглагольствовал два часа сряду, с тем порывистым, горячим и распущенным вдохновением, которое делает его порою очень красноречивым. Насколько я мог судить по обрывкам этих речей, донесшимся до меня, доводы, приводимые им государю, далеко выходят за пределы современной политики и стратегии: предметом его защиты служит религиозный тезис. Сквозь красочные афоризмы, из которых многие вероятно подсказаны ему друзьями из св. синода, выступает некоторая доктрина: „Царь не только руководитель и светский вождь своих подданных. Священное миропомазание при короновании вручает ему гораздо более высокую миссию. Оно делает его их представителем, посредником и поручителем перед Всевышним Судьей. Оно, таким образом, заставляет его взять на себя все грехи и все беззакония своего народа, так же как и все

его испытания и все его страдания, чтобы отвечать за первые и выставить другие перед Богом"... Теперь я понимаю одну фразу Бакунина, когда-то меня поразившую: „В темном сознании мужика, царь есть нечто вроде русского Христа".

Четверг, 26 августа 1915 г.

Германцы овладели Брест-Литовском. Русская армия отходит на Минск.

Воскресенье, 29 августа 1915 г.

В первый раз Распутин стал предметом обсуждения в печати. До нынешняго дня цензура и полиция предохраняли его от всякой критики в газетах. Поход ведут „Биржевые Ведомости".

Все прошлое этого лица, его низкое происхождение, его кражи, его развращенность, его кутежи, интриги, весь скандал его сношений с высшим обществом, высшей администрацией и высшим духовенством—все это выставлено на свет. Но, очень искусно, не сделано ни малейшего намека на его близость к государю и к государыне. „Как, пишет автор статей, как это возможно? Каким образом этот низкий авантюрист мог так долго издеваться над Россией? Не поражаешься ли, когда подумаешь, что оффициальная церковь, св. синод, аристократия, министры, сенат, многие члены Государственного Совета и Государственной Думы могли вступать в соглашение с таким мерзавцем?... Не самое ли это ужасное обвинение, какое только можно предъявить всему государственному строю.... Еще вчера, общественный и политический скандал, вызываемый именем Распутина, казался вполне ес-

тественным. Но теперь Россия желает, чтобы это прекратилось".

Хотя факты и анекдоты, сообщаемые „Биржевыми Ведомостями", и были всем известны, тем не менее опубликование их производит величайший эффект. Восхищаются новым министром внутренних дел, князем Щербатовым, позволившим напечатать эту злую статью. Но единодушно предсказывают, что он недолго сохранит свой портфель.

Понедельник, 30 августа 1915 г.

У меня было совещание с генералом Беляевым, начальником главного штаба. Вот содержание его ответов на мои вопросы:

1. Потери русской армии громадны. С 350000 человек в месяц в мае, июне и июле они поднялись в августе до 450000. Со времени первых поражений на Дунайце, русская армия, таким образом, потеряла около 1500000 человек.

2. Ежедневное производство артиллерийских снарядов равно в настоящее время 35000; вскоре оно достигнет 42000.

3. Русские заводы изготовляют в настоящее время по 67000 винтовок в месяц; заграничные заводы присылают по 16000; всего, стало быть 83000. Эта цифра останется без изменений до 15 ноября. С этого числа иностранные поставки будут равны 76000 в месяц. Таким образом русская пехота сможет рассчитывать на возможность ежемесячно располагать 140.000 винтовок.

4. Германская армия, оперирующая в районе Брест-Литовска, как кажется, не представляет угрозы для Москвы, столько же по причине расстояния (1100 верст), сколько в силу естественных препятствий и состояния дорог в осеннее время

5. Для защиты Петрограда сосредоточены четыре армии, в составе 16 корпусов, под начальством Рузского, расположенные по линии Псков—Двинск—Вильна. Когда позиция на участке Двинск—Вильна не сможет быть удерживаема, все четыре армии отойдут, делая поворот вокруг Пскова. При этих условиях и принимая во внимание близкое наступление осени, совершенно невероятно, чтобы немцы заняли Петроград.

Вторник, 31 августа 1915 г.

Генерал Поливанов, военный министр, отвез великому князю Николаю Николаевичу письмо, которым император освободил его от командования. Прочтя высочайшее послание, великий княз перекрестился и произнес только эти слова: „Слава Богу, государь освобождает меня от бремени, которым я был измучен". Потом он заговорил о других вещах, словно происшедшее его не касалось. Нельзя с большим достоинством встретить столь громкую немилость.

Среда, 1 сентября 1915 г.

Общее собрание московского торгово-промышленного с'езда закончило свои труды, приняв резолюцию, в которой утверждается: во 1-х, что жизненные интересы России требуют продолжения войны до победы; во 2-х, что необходимо немедленно призвать к власти людей, пользующихся общественным доверием, и дать им полную свободу действий; наконец, собрание выражает уверенность, что „верноподданнический голос московского народа будет услышан государем".

Это воззвание к государю о немедленном установлении ответственного министерства тем более знаменательно, что исходит из Москвы, из священного города, очага русского национализма.

Еще знаменательнее те суждения, которыми сопровождалось голосование резолюции и опубликование которых запрещено цензурой. Нынешние министры были подвергнуты сильнейшей критике, и самая особа государя стала предметом обсуждения.

Мне сообщают о возбуждении в рабочих кругах.

Четверг, 2 сентября 1915 г.

Графиня Гогенфельзен, морганатическая супруга великого князя Павла Александровича, недавно пожалованная титулом княгини Палей, телефонировала мне вчера вечером, приглашая меня сегодня к себе обедать; она настаивала на моем согласии, говоря, что со мною желают переговорить.

Я застал в гостиной г-жу Вырубову, Мих. Ал. Стаховича и Дмитрия Бенкендорфа. Здесь же был и великий князь Дмитрий Павлович, приехавший сегодня утром из ставки.

Тревожное, мрачное настроение господствует за столом. Дважды, пока мы обедаем, дворцовый швейцар в красной ливрее, расшитой золотом, с шапкой в руках, подходит к великому князю Дмитрию Павловичу и шепчет ему на ухо несколько слов. Каждый раз великий князь Павел Александрович глазами спрашивает своего сына, и тот ему коротко отвечает:

— Ничего...Все еще ничего нет.

Княгиня Палей говорит мне шепотом:

— Великий князь расскажет вам потом, отчего Дмитрий вернулся из ставки; как только он приехал, утром, он просил аудиенции у государя. Ответа добиться невозможно. Швейцар только что звонил в канцелярию Александровского дворца, чтобы узнать, не давал ли его величество распоряжений. Но все ничего нет. Это плохой признак.

Когда в гостиной подали кофе, г-жа Вырубова предлагает мне сесть около нее, и говорит без всякого вступления:

— Вы, конечно, знаете, господин посол, о важном решении, принятом только что государем. Ну, что же... как вы об этом думаете?... Его величество сам поручил мне спросить вас об этом.

— Это решение окончательное?...

— О, да, вполне.

— В таком случае, мои возражения были бы немного запоздалыми.

— Их величества будут очень огорчены, если я не привезу им другого ответа, кроме этого. Они так желают узнать ваше мнение!

— Но как же я могу высказывать какое-нибудь мнение о мероприятии, истинные причины которого от меня ускользают?... Государь должен был иметь самые важные основания для того, чтобы к тяжелой ноше своей обычной работы прибавить ужасную ответственност за военное командование... Какие же это основания...?

Мой вопрос приводит ее в замешательство. Уставившись на меня испуганными глазами, она бормочет несколько слов; потом говорит мне запинающимся голосом:

— Государь думает, что, в таких тяжелых обстоятельствах, долг царя велит ему стать во главе своих войск и взять на себя всю ответственность за войну... Прежде чем придти к такому убеж-

дению, он много размышлял, много молился... Наконец, несколько дней назад, отслушав обедню, он сказал нам: *Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божья!* Говоря нам эти слова, он был очень бледен; но его лицо выражало полную покорность.

Эти слова императора заставили меня внутренно ужаснуться. Идея предназначения к жертве и полного подчинения Божественной воле как нельзя более согласуется с его пассивным характером. Если только военное счастье еще несколько месяцев будет против нас—не найдет ли он, в послушании вышней воле, повода или извинения для ослабления своих усилий, для отказа от надежд, для молчаливого принятия всевозможных катастроф....

С минуту я молчу; в свою очередь, я очень затрудняюсь, что мне отвечать. Наконец, я говорю г-же Вырубовой:

— То, что вы мне сообщили, делает для меня еще более трудным выразить какое-либо мнение о решении, принятом государем—поскольку это дело решается между его совестью и Богом. Кроме того, так как решение это неотменимо, критика его не послужила бы ни к чему; главное же — сделать из него возможно лучшее употребление. И вот, выполняя свои обязанности верховного главнокомандущего, император будет постоянно иметь случай давать чувствовать, не только войскам, но и народу, всему народу, необходимость победы. Для меня, как посла союзной Франции, вся военная программа России заключается в клятве, данной его величеством 2-го августа 1914 года, на Евангелии и перед иконой Казанской Божией Матери. Вы помните это великолепное служение в Зимнем дворце. Возобновляя в тот день клятву 1812 г.,

давая обещание не заключать мира, пока хоть один вражеский солдат останется на Русской земле, государь перед Богом принял на себя обязательство не падать духом ни перед какими испытаниями, вести войну до победы ценою каких бы то ни было жертв. Теперь, когда его верховная власть будет непосредственно влиять на самое поведение войск, ему уже будет легче сдержать это священное обязательство. Таким образом, по моему мнению, он явится спасителем России; в таком именно смысле я позволяю себе истолковывать полученное им свыше откровение. Извольте передать ему это от меня.

Она моргнула два или три раза, очевидно, стараясь про себя повторить сказанное. Потом, словно спеша разгрузить свою память, простилась со мною:

— Я тотчас же доложу их величествам то, что вы мне сейчас сказали, и очень вам за это благодарна.

Пока она прощается с княгиней Палей, великий князь уводит меня, вместе со своим сыном, в свой рабочий кабинет.

Великий князь Дмитрий Павлович рассказывает мне тогда, что он приехал утром из ставки с экстренным поездом, с целью довести до сведения государя о том прискорбном впечатлении, которое должно было бы произвести в войсках устранение великого князя Николая Николаевича. Прислонившись к камину, делая руками нервные жесты, он продолжает прерывающимся голосом:

— Я все скажу государю; я решил сказать ему все. Я даже скажу ему, что, если он не откажется от своего намерения, — на что еще есть время,— последствия этого могут быть неисчислимы, *столь же*

роковые для династии, как и для России. Я, наконец, предложу ему одну комбинацию, которая может, в крайнем случае, все примирить. Мысль о ней принадлежит мне. Я имел счастье получить на нее согласие великого князя Николая Николаевича, проявившего еще раз чувства удивительного патриотизма и безкорыстия. Мой проект заключается в том, чтобы государь, принимая верховное командование, сохранил около себя великого князя, в качестве помощника. Вот что мне поручено предложить государю от имени великого князя. Но, как вы видите, его величество не спешит меня принять. Только что сойдя с поезда сегодня утром, я просил у него аудиенции. Теперь десять часов вечера. И в ответ ни слова. Что вы думаете о моей идее?

— Сама по себе она мне кажется превосходной. Но я сомневаюсь, чтобы государь на нее согласился; я имею серьезные основания думать, что он непременно желает удалить великого князя из армии.

— Увы!..—вздыхает Павел Александрович,—я думаю так же, как вы, дорогой мой посол, что государь никогда не согласится оставить при себе Николая Николаевича.

Великий князь Дмитрий Павлович гневным движением отбрасывает от себя папиросу, большими шагами ходит по комнате, потом, скрестив руки на груди, восклицает:

— В таком случае, мы погибли... Потому что теперь в ставке будут распоряжаться государыня и ее камарилья. Это ужасно...

Помолчав, он обращается ко мне:

— Господин посол, разрешите мне один вопрос. Верно ли то, что союзные правительства вмешались, или накануне вмешательства, чтобы не допустить государя принять командование?..

— Нет! Назначение главнокомандующего есть внутренний вопрос, зависящий от верховной власти.

— Вы меня успокаиваете. Мне говорили в ставке, что Франция и Англия хотят потребовать оставления великого князя Николая Николаевича. Это было бы огромной ошибкой. Вы бы разрушили популярность Николая Николаевича и восстановили бы против себя всех русских, начиная с меня.

Великий князь Павел Александрович добавляет:

— Притом же, это ни к чему бы не послужило. В том состоянии духа, в каком находится государь, он не остановится ни перед каким препятствием, он пойдет на самые крайние меры, чтобы исполнить свой замысел. Если бы союзники воспротивились, он бы скорее расторг союз, чем позволил бы оспаривать свою верховную прерогативу, еще удвоенную для него религиозным долгом...

Мы возвращаемся в гостиную. Княгиня Палей спрашивает меня:

— Ну что же?.. Какие заключения вы делаете из всего, что вам сказали здесь сегодня?...

— Я ничего не заключаю... Когда мистицизм заменяет собою государственный разум, нельзя ничего предвидеть. Отныне я готов ко всему.

Пятница, 3 сентября 1915 г.

Дважды в течении этого дня—в первый раз на Троицком мосту, второй—на набережной Екатерининского канала—я встречаю придворный автомобиль, в глубине которого вижу императора с императрицей; лица обоих очень серьезны. Присутствие их в Петрограде так необычно, что заставляет всех прохожих вздрагивать от удивления.

Их величества проехали прежде всего в крепость, в Петропавловский собор, где помолились перед гробницами Александра I, Николая I, Александра II и Александра III. Оттуда они отправились в часовню в домике Петра Великого, где приложились к образу Спасителя, сопровождавшему постоянно Петра. Наконец, они приказали везти себя в Казанский собор, где долго оставались распростертыми перед чудотворной иконой Божьей Матери. Все эти моления показывают, что государь накануне выполнения того высшего деянья, которое кажется ему необходимым для спасения и искупления России.

Я узнаю, с другой стороны, что утром, прежде чем выехать из Царского Села, государь принял великого князя Дмитрия Павловича и категорически отвергнул мысль сохранить великого князя Николая Николаевича в ставке, в качестве помощника главнокомандующего.

Когда я припоминаю все тревожные симптомы, отмеченные мною в эти последние недели, мне кажется очевидным, что в недрах русского народа назревает революционный взрыв.

В какое время, в каких формах, при каких обстоятельствах разразится кризис? Будет ли последним, случайным и побудительным поводом военный разгром, голод, кровопролитная стачка, бунт в казармах, дворцовая трагедия... Я не знаю. Но мне кажется, что событие это отныне предвещает себя неотвратимо, как историческая необходимость. Во всяком случае, вероятие его уже столь значительно, что я считаю нужным предупредить французское правительство; итак, я посылаю Делькассэ телеграмму, где, изложив опасности военного положения, пишу в конце: „Что касается внутреннего положения, оно ничуть не

более утешительно. До самого последнего времени можно было верить, что не произойдет революционных беспорядков раньше конца войны. Я бы не мог утверждать этого теперь. Вопрос заключается в том, чтобы знать, будет ли в состоянии Россия, через более или менее отдаленный промежуток времени, выполнять действенным образом свое назначение, как союзница. Как бы ни была недостоверна такая случайность, она должна отныне входить в предвидения правительства республики и в расчеты генерала Жоффра".

Воскресенье, 5 сентября 1915 г.

Император уехал вчера вечером в ставку, где сегодня принимает командование.

Перед от'ездом он подписал приказ, который всех удивляет и печалит: он уволил, без всяких об'яснений, начальника своей военно-походной канцелярии, князя Владимира Орлова.

Связанный с Николаем II двадцатилетней дружбой, в силу своих обязанностей посвящаемый в самую интимную, ежедневную жизнь государя, но сохранявший всегда по отношению к своему повелителю независимость характера и откровенность речи,—он не переставал бороться с Распутиным. Теперь в окружении их величеств не осталось более никого, кто бы не был послушен старцу.

Понедельник, 6 сентября 1915 г.

Приняв командование над всеми сухопутными и морскими силами, государь отдал следующий приказ: „Сего числа я принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими воору-

женными силами, находящимися на театре военных действий.

С твердою верою в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты родины до конца и не посрамим Земли Русской".

Кроме того, он обратился к великому князю Николаю Николаевичу с таким рескриптом:

„Ваше императорское высочество, вслед за открытием военных действий причины общегосударственного характера не дали мне возможности последовать душевному моему влечению и тогда же лично стать во главе армии, почему я возложил верховное командование всеми сухопутными и морскими силами на ваше императорское высочество.

Возложенное на меня свыше бремя царского служения Родине повелевает мне ныне, когда враг углубился в пределы империи, принять на себя верховное командование действующими войсками и разделить боевую страду моей армии и вместе с нею отстоять от покушений врага Русскую Землю.

Пути Промысла Божьяго неисповедимы, но мой долг и желание мое укрепляют меня в этом решении из соображения пользы государственной.....

Признавая, при сложившейся обстановке, необходимость мне вашей помощи и советов по нашему южному фронту, назначаю вас, ваше императорское высочество, наместником моим на Кавказе и главнокомандующим доблестной кавказской армии, выражая вашему императорскому высочеству за все ваши боевые труды глубокую благодарность мою и Родины"....

Согласно особому желанию императора, великий князь Николай Николаевич отправился прямо в Тифлис, не заезжая в Петроград.

XIX.

Измена Болгарии и сербская трагедия.

Воскресенье, 12 сентября 1915 г.

Положение русских армий в Литве быстро ухудшается. На северо-западе от Вильны неприятель продвигается вперед усиленными переходами к Двинску через Вилькомир; его кавалерийские патрули достигают уже, вблизи от Свенцян, железной дороги, единственной артерии, которая соединяет Вильну, Двинск, Псков и Петроград. Южнее, после ожесточенных боев при слиянии р. Зельвянки и Немана, он угрожает, вблизи от Лиды, большой дороге между Вильной и Пинском. Придется с большой поспешностью эвакуировать Вильну.

Вот несколько точных сведений об обстоятельствах, при которых князь Владимир Орлов, несколько дней тому назад, лишился того доверенного поста, который он занимал в течении стольких лет при императоре.

Владимир Николаевич узнал о своей опале неприятным и неожиданным образом. Сообщая великому князю Николаю о назначении его императорским наместником на Кавказе, царь прибавил к своему письму такой post-scriptum: „что касается Владимира Орлова, которого ты так любишь, я отдаю его тебе; он может быть тебе полезен для гражданских дел". Великий князь, который связан тесной дружбой с Орловым, тотчас же через одного

из своих ад'ютантов спросил его о том, что означает это неожиданное решение.

Несколькими часами позже Орлов узнал, что император, который собирался уехать в ставку верховного главнокомандующего, вычеркнул его имя из списка лиц, призванных занять место в поезде его величества; он естественно заключил отсюда, что Николай II не хотел его видеть. С полным достоинством он воздержался от всякой жалобы, от упреков, и отправился в путь в Тифлис

Но, раньше чем удалиться, он хотел облегчить свою совесть. В письме, адресованном графу Фредериксу, министру двора, он умолял этого старого слугу открыть глаза монарху на гнусную роль Распутина и его сообщников, на которых он указывал, как на агентов Германии; он имел мужество окончить свое письмо следующем тревожным воплем: „Император не может более терять ни одного дня для того, чтобы освободиться от темных сил, которые его угнетают. В противном случае, скоро наступит конец Романовым и России".

Среда, 15 сентября 1915 г.

Сегодня вечером я обедаю в частном доме с Максимом Ковалевским, Милюковым, Маклаковым, Шингаревым; это—генеральный штаб и цвет либеральной партии. В других государствах, такой обед был бы самым естественным явлением. Здесь пропасть между оффициальным миром и прогрессивными элементами так глубока, что я готов к тому, что подвергнусь резкой критике со стороны благомыслящих кругов. И все же эти люди, непогрешимой честности, высокой культуры,—всего меньше революционеры; весь их политический идеал заключается в конституционной монархии. Таким обра-

зом Милюков, известный историк Русской культуры, мог сказать во времена первой Думы: „Мы не являемся оппозицией его величеству, но оппозицией его величества".

Когда я приезжаю, я застаю их всех собравшимися вокруг Ковалевского, оживленно говорящего с возмущенным видом: действительно, они только что узнали, что правительство решило распустить Думу. Таким образом, прекрасные надежды, которые возникли шесть недель назад в начале сессии, уже обратились в ничто. Учреждение ответственного министерства—не более, как химера; „черный блок" берет над ним верх; это—победа единоличной власти, самодержавного абсолютизма и темных сил. Весь обед проходит в обсуждении тех мрачных перспектив, которые открывает этот наступательный возврат реакции.

Когда мы встаем из-за стола, один журналист сообщает, что указ, отсрочивающий заседания Думы, был подписан сегодня днем и будет опубликован завтра.

Я уединяюсь в угол гостиной с Ковалевским и Милюковым. Они сообщают мне, что в виду оскорбления, нанесенного народному представительству, они хотят уйти из смешанных комиссий, организованных недавно в военном министерстве, чтобы сделать более интенсивной работу заводов.

— От содействия Думы отказываются: пусть будет так! Но отныне мы предоставим одному правительству всю ответственность за войну.

Я энергично доказываю им, насколько такое поведение было бы несвоевременно и даже преступно.

— Я не могу оценивать побуждающих вас причин и ваших политических рассчетов. Но, как посол Франции, находящейся с вами в союзе, Фран-

ции, которая вступила в войну для защиты России, я имею право вам напомнить, что вы находитесь перед лицом врага, и что вы должны запретить себе всякий поступок, всякое заявление, которое могло бы ослабить ваше военное напряжение.

Они обещают мне подумать об этом.

В конце Ковалевский говорит мне:

— Эта отставка Думы—преступление. Если бы хотели ускорить революцию, то не могли бы поступить иначе.

Я спрашиваю у него:

— Думаете ли вы, что нынешний кризис мог бы привести к революционным возмущениям?

Он обменивается взглядом с Милюковым. Затем, останавливая на мне свой светлый и острый взгляд, он отвечает мне:

— Насколько это будет от нас зависеть, во время войны революции не будет,.. Но, быть может, вскоре это уже не будет зависеть от нас.

Оставшись с Максимом Ковалевским, я спрашиваю его об его исторических и социальных работах. Бывший профессор московского университета, много раз пострадавший за независимость своих мнений, принужденный уехать из России в 1887 году, он много путешествовал во Франции, в Англии, в Соединенных Штатах. В настоящее время он—одно из видных лиц среди интеллигенции. Его исследования о политических и общественных учреждениях в России указывают на его глубокое образование, открытый и прямой ум, на мысль свободную, синтетическую и подчиненную дисциплине английского позитивизма. В его партии его считают предназначенным к большой роли в тот день, когда самодержавие превратится в конституционную монархию. Я думаю, что эта роль будет состоять исключительно в нравственном влиянии. Как все

корифеи русского либерализма, Максим Ковалевский слишком умозрителен, слишком теоретичен, слишком книжен для того, чтобы быть человеком действия. Понимание общих идей и знание политических систем недостаточны для управления человеческими делами: здесь необходим еще практический смысл, интуитивное понимание возможного и необходимого, быстрота решения, твердость плана, понимание страстей, обдуманная смелость,— все качества, которых, как мне кажется, лишены „кадеты" несмотря на их патриотизм и добрые намерения.

В конце я умоляю Ковалевского расточать во круг себя без устали советы терпения и благоразумия. Я прошу его, наконец, вдуматься в признание, которое меланхолически шептал в течение нескольких дней 1848 г. один из руководителей прежней „монархической оппозиции", один из организаторов известных банкетов, Дювержье д' Оран: „Если бы мы знали, насколько были тонки стенки вулкана, мы не вызвали бы извержения".

Четверг, 16 сентября 1915 г.

Отсрочка заседаний Думы обнародована.

Тотчас же Путиловский завод и Балтийская верфь об'являют забастовку.

Пятница, 17 сентября 1915 г.

Забастовки распространяются сегодня почти на все заводы Петрограда. Но не замечается никаких беспорядков. Вожаки утверждают, что они просто хотят протестовать против отсрочки Думы и что работа возобновится через два дня.

Один из моих осведомителей, который хорошо знает рабочие круги, говорит мне:

— Этот раз еще нечего опасаться. Это только генеральная репетиция.

Он прибавляет, что идеи Ленина и его пропаганда поражения имеют большой успех среди наиболее просвещенных элементов рабочего класса.

— Не является ли Ленин немецким провокатором?

— Нет, — Ленин человек неподкупный. Это фанатик, но необыкновенно честный, внушающий к себе всеобщее уважение.

— В таком случае он еще более опасен.

Воскресенье, 19 сентября 1915 г.

На всем громадном фронте, который развертывается от Балтийского моря до Днестра, русские продолжают медленное отступление.

Вчера обхватывающее и смелое наступление передало Вильну в руки немцев. Вся Литва потеряна.

Понедельник, 20 сентября 1915 г.

Забастовки в Петрограде окончены.

В Москве земский и городской союзы приняли предложение, требующее немедленного созыва Думы и образования министерства, „пользующегося доверием страны".

Вторник, 21 сентября 1915 г.

Царь Фердинанд открыл свои карты: Болгария мобилизуется и готовится напасть на Сербию.

Когда Сазонов сообщает мне эту новость, я восклицаю:

— Сербия не должна позволять аттаковать себя; нужно, чтобы она сама немедленно напала.

— Нет,—отвечает мне Сазонов,—мы еще должны попытаться помешать конфликту.

Я возражаю, что конфликта избежать уже невозможно, что уже давно игра Болгарии слишком очевидна; что дипломатическое вмешательство не может теперь иметь иного следствия, как дать болгарской армии время мобилизоваться и сконцентрироваться; что если сербы не воспользуются тем, что дорога на Софию им открыта в течение еще нескольких дней, то они погибли. Наконец, я заявляю, что, дабы поддержать действия сербов, русский флот должен бомбардировать Бургас и Варну.

—Нет!—восклицает Сазонов...—Болгария—одной с нами веры; мы создали ее нашей кровью; она обязана нам своим национальным и политическим существованием; мы не можем обращаться с ней, как с врагом.

— Но это она делает себя вашим врагом... И в какой момент!

— Пусть! Но необходимо еще вести переговоры... Одновременно мы должны обратиться к массе болгарского народа и обнаружить перед ним ужас преступления, которое хотят его заставить совершить. Манифест, с которым император Николай обратится к нему во имя славянства, произведет, без сомнения, большое впечатление; мы не имеем права не испробовать этой последней возможности.

— Я держусь того, о чем вам только что говорил. Нужно, чтобы сербы бросились форсированным маршем на Софию; иначе, раньше чем через месяц, болгары будут в Белграде.

Понедельник, 27 сентября 1915 г.

Земский и городской союзы, которые заседали эти последние дни в Москве, сообща приняли следующие резолюции:

„В грозный час народного испытания мы, собравшиеся в Москве уполномоченные губернских земств, об'единившиеся во всероссийский земский союз, сохраняем непоколебимую веру в силу и доблестный дух родной армии и твердо уповаем на конечную победу, до которой о мире не должно и не может быть речи... Будучи убеждены в возможности полного одоления врага, мы с тревогой видим надвигающуюся опасность от гибельного раз'единения того внутреннего единства, которое было провозглашено в самом начале войны с высоты престола, как верный залог победы.

Опасность эта устранима лишь обновлением власти, которая может быть сильна только при условии доверия страны в единении с законным ее представительством.

В единомыслии с желанием страны Государственная Дума наметила те пути, которые могут вывести Россию из ниспосланных ей испытаний. Но правительство не пошло на единение с Государственной Думой в ее небывало единодушных стремлениях. Столь желанное всей страной и необходимое взаимодействие общественных и правительственных сил не осуществилось. Мы видим и чувствуем, как глубоко потрясено этим общественное сознание.

Это обязывает нас вновь указать на необходимость скорейшего возобновления занятий Государственной Думы, которая одна может дать незыблемую опору сильной власти. Тогда, и только тогда,

проявятся во всей полноте своей силы русского народа и его способность выдерживать самые тяжелые испытания".

Оба союза назначили по три депутата, которым дано поручение словесно изложить императору желание страны.

Председатель совета Горемыкин советовал его величеству не принимать этих депутатов, которые, по его словам, не имеют никакого права „заставить слушать голос русской земли". Император отказал в аудиенции.

Вторник, 28 сентября 1915 г.

Раздор царствует среди русского правительства. Несколько министров, напуганные реакционными стремлениями, которые берут верх при дворе, обратились к императору с коллективным письмом, чтобы умолять его остановиться на этом гибельном пути и заявить ему, что их совесть не позволяет им дольше работать под председательством Горемыкина. Кроме Сазонова, письмо подписали князь Щербатов, министр внутренних дел; Кривошеин, министр земледелия; князь Шаховский, министр торговли; Барк, министр финансов, и Самарин, обер-прокурор святейшего синода. Генерал Поливанов, военный министр, и адмирал Григорович, морской министр, воздержались от подписания из уважения к военной дисциплине.

Получив это письмо, император созвал всех министров в ставке; они уехали в Могилев, куда прибудут завтра.

Дело протекает в строгой тайне.

Восемь дней назад председатель Думы Родзянко просил об аудиенции у императора. Сегодня утром его известили, что его просьба не была уважена.

Суббота, 30 сентября 1915 г.

Сегодня вечером я узнаю, что вчера в Могилеве император сурово обошелся с министрами, подписавшими письмо. Он заявил им резким голосом:

— Я не потерплю, чтобы мои министры вели себя, как забастовщики по отношению к моему председателю совета. Я сумею внушить всем уважение к моей воле.

Суббота, 9 октября 1915 г.

Реакционные влияния все более утверждаются вокруг императора.

Министр внутренних дел князь Щербатов и обер-прокурор святейшего синода Самарин, которые занимали свои посты едва в течение трех месяцев и по своему либеральному направлению были симпатичны общественному мнению, уволены без всякого об'яснения. Новый министр внутренних дел — Алексей Николаевич Хвостов, бывший губернатор в Нижнем-Новгороде и один из руководителей правой в Думе. Заместитель Самарина в святейшем синоде еще не назначен.

Воскресенье, 10 октября 1915 г.

Император принимает меня сегодня днем в Царском Селе.

У него хороший вид, и то доверчивое и спокойное выражение, которого я не видел у него уже давно. Мы приступаем тотчас же к цели моего визита. Я излагаю ему многочисленные соображения, которые обязывают Россию принять участие в военных действиях, предпринимаемых Францией и Англией на Балканах; я заканчиваю такими словами:

— Государь, Франция просит у вас содействия вашей армии и вашего флота против Болгарии. Если дунайский путь не годен для перевозки войск, остается путь через Архангельск. Менее чем в тридцать дней бригада пехоты может быть таким образом перевезена из центра России в Салоники. Я прошу ваше величество дать приказ о посылке этой бригады. Что же касается морских операций, то я знаю, что восточные ветры, которые в это время года дуют на Черном море, делают почти невозможной высадку в Бургасе и Варне. Но двум или трем броненосцам легко бомбардировать форты Варны и батареи мыса Эмине, которые господствуют над бухтой Бургаса. Я прошу ваше величество дать приказ об этой бомбардировке.

— Да... Но чтобы оправдать в глазах русского народа эту операцию, я должен подождать, пока болгарская армия начнет неприязненныя действия против сербов.

— Благодарю ваше величество за это обещание.

Наша беседа принимает затем более интимный характер. Я спрашиваю императора относительно впечатлений, которые он привез с фронта.

— Мои впечатления,—говорит он мне,—превосходны. Я испытываю больше твердости и уверенности, нежели когда-либо. Жизнь, которую я веду, находясь во главе моих армий, так здорова и действует на меня таким живительным образом! Как великолепен русский солдат! И у него такое желание победить, такая вера в победу.

— Я счастлив слышать это от вас; ибо усилие, которое еще предстоит нам совершить, огромно, и мы можем победить только благодаря настойчивости и упорству.

Император отвечает, сжав кулаки и поднимая их над головою:

— Я весь настойчивость и упорство. И таким останусь до полной победы.

Наконец, он спрашивает меня о нашем наступлении в Шампани, восхищаясь чудесными качествами французских войск. В заключение он касается жизни, которую я веду в Петрограде.

— Право, мне вас жаль,—говорит он,—вы живете в среде, об'ятой подавленностью и пессимизмом. Я знаю, что вы мужественно сопротивляетесь мефитическому воздуху Петрограда. Но если, когда-либо, вы почувствуете себя отравленным, посетите меня в тот день на фронте, и я обещаю вам, что вы тотчас же выздоровеете.

Став внезапно серьезным, он прибавляет суровым тоном:

— Эти петербургские миазмы чувствуются даже здесь, на расстоянии двадцати двух верст. И наихудшие запахи исходят не из народных кварталов, а из салонов. Какой стыд! Какое ничтожество! Можно ли быть настолько лишенным совести, патриотизма и веры?

Встав при этих словах, он благосклонно говорит:

— Прощайте, мой дорогой посол, я должен вас покинуть, сегодня вечером я уезжаю в ставку и у меня еще много дела... Если бы мы могли сказать только хорошее друг другу, когда снова увидимся...

Вторник, 12 октября 1915 г.

На основании некоторых разговоров, которые вчера вечером г-жа Вырубова вела в благочестивом доме, в котором причащаются во имя Распутина, бодрое настроение, уверенность, увлечение, которые я наблюдал у императора, об'ясняются, в значительной мере, восторженными похвалами, которые

императрица ему расточает с тех пор, как он ведет себя „как истинный самодержец". Она беспрерывно ему повторяет: „Отныне вы достойны ваших самых великих предков; я убеждена, что они гордятся вами и что, с высоты неба, они вас благословляют... Теперь, когда вы находитесь на пути указанном Божественным Провидением, я не сомневаюсь более в нашей победе, как над нашими внешними врагами, так и над врагами внутренними; вы спасете одновременно родину и трон... Как мы были правы, слушая нашего дорогого Григория! Как его молитвы помогают нам перед Богом!.."

Я часто слышал споры на тему о том, искренен ли Распутин в утверждении своих сверхестественных способностей, или же он, в сущности, не более как лицемер и шарлатан. И мнения почти всегда разделялись, так как старец полон контрастов, противоречий и причуд. Что же касается меня, я не сомневаюсь в его полной искренности. Он не обладал бы таким обаянием, если бы не был лично убежден в своих исключительных способностях. Его вера в собственное мистическое могущество является главным фактором его влияния. Он первый обманут своим пустословием и своими интригами; самое большее, что он прибавляет к этому некоторое хвастовство. Великий мастер герметизма, остроумный автор „Philosophia sagax", Парацельс, совершенно правильно заметил, что сила чудотворца имеет необходимым условием его личную веру: „он неспособен сделать то, что считает неисполнимым для себя"... К тому же, каким образом не верил бы Распутин, что от него исходит исключительная сила? Каждый день он встречает подтверждение в легковерии окружающих. Когда, чтобы внушить императрице свои фантазии, он говорит, что вдохновлен Богом, ее немедленное послушание доказы-

вает ему самому подлинность его притязаний. Таким образом, они оба взаимно гипнотизируют друг друга.

Имеет ли Распутин такую же власть над императором, как над императрицей? Нет, и разница ощутительна.

Александра Федоровна живет, по отношению к старцу, как бы в гипнозе: какое бы мнение он ни выразил, какое бы желание ни изложил, она тотчас же повинуется: мысли, которые он ей внушает, врастают в ее мозг, не вызывая там ни малейшего сопротивления. У царя подчинение значительно менее пассивное, значительное менее полное. Он верит, конечно, что Григорий „Божий человек"; тем не менее он сохраняет по отношению к нему большую часть своей свободной воли; он никогда не уступает ему по первому требованию. Эта относительная независимость укрепляется особенно, когда старец вмешивается в политику. Тогда Николай II облекается в молчание и осторожность; он избегает затруднительных вопросов; он откладывает решительные ответы; во всяком случае, он подчиняется только после большой внутренней борьбы, в которой его прирожденный ум очень часто одерживает верх. Но, в отношениях моральном и религиозном, император глубочайшим образом подвергается влиянию Распутина; он черпает отсюда много силы и душевного спокойствия, как он признавался недавно одному из своих ад'ютантов Д., который сопровождал его во время прогулки.

— Я не могу себе об'яснить,—говорил он ему,— почему князь Орлов высказывал себя таким нетерпимым по отношению к Распутину; он не переставал говорить мне об нем плохое и повторять, что его дружба для меня гибельна. Совсем напро-

тив... Итак, слушайте: когда у меня бывают заботы, сомнения, неприятности, мне достаточно поговорить в течении пяти минут с Григорием, чтобы почувствовать себя тотчас же уверенным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне необходимо услышать. И впечатление от его добрых слов остается во мне в течении нескольких недель...

Воскресенье, 17 октября 1915 г.

На всем фронте Дуная, Савы и Дравы сербы отступают под грозным давлением двух австро-германских армий, которыми командует фельдмаршал фон-Макензен.

Сербское правительство и дипломатический корпус готовятся покинуть Ниш, чтобы перейти в Монастырь.

Вторник, 19 октября 1915 г.

Император вчера обнародовал манифест о вероломстве болгар...

Понедельник, 25 октября 1915 г.

Разгром Сербии ускоряется...

Внезапное вторжение болгар во Вранию, на верхней Мораве, и в Ускюб, на Вардаре, перерезало железную дорогу от Ниша на Салоники. Королевское правительство и дипломатический корпус не могут более отныне укрываться в Монастыре; они попытаются достичь Скутари и адрианопольского побережья через Митровицу, Призрен и Дьяково, т. е. пройдя горный хаос Албании, где снег завалил все перевалы.

Каждый день Пашич обращается к союзникам с отчаянным призывом... и напрасно.

Суббота, 6 ноября 1915 г.

Реакционный ветер, который месяц тому назад опрокинул министра внутренних дел князя Щербатова, и обер-прокурора святейшего синода Самарина, избрал новую жертву: министр земледелия Кривошеин уволен от своих обязанностей под мнимым предлогом нездоровья.

К своим прекрасным качествам администратора Кривошеин присоединяет характер государственного человека, что мало обычно в России: он, без всякого сомнения, является самым превосходным представителем монархического либерализма. А я не думаю, чтобы конституционный идеал Кривошеина на много превосходил французскую хартию 1814 года, и я не менее могу поручиться за его религиозное благочестие, чем за его преданность династии.

Правительство, возглавляемое Горемыкиным, насчитывает не более двух министров либерального направления: это Сазонов и генерал Поливанов.

Пятница, 12 ноября 1915 г.

Под двойным давлением австро-германцев на севере и болгар на востоке несчастные сербы сокрушены, несмотря на героическое сопротив-

7 ноября город Ниш, древняя сербская столица, родина Константина Великого, перешла в руки болгар. Между Краевым и Крушевацом австро-германцы перешли западную Мораву, захватывая на протяжении всего пространства громадную добычу. Франко-

английские авангарды вчера вошли в соприкосновение с болгарами в долине Вардара, вблизи от Кара-су. Но вмешательство союзников в Македонии слишком запоздало. В скором времени Сербии уже не будет.

Суббота, 13 ноября 1915 г.

В клубе старый князь В., ультрареакционер, находящийся всегда в ворчливом настроении, позволяет себе говорить со мной о внутренней политике: он думает, что Россия не может найти своего спасения иначе, как в строгом применении самодержавной доктрины. Я высказываюсь с осторожностью.

— Очевидно,—продолжает он,—вы должны считать меня очень отсталым, и я угадываю, что Кривошеин имел все ваши симпатии на своей стороне. Но либералы, которые стараются показать себя монархистами, которые при всяком случае присваивают себе привилегию на преданность законной династии, являются с моей точки зрения самыми опасными. С настоящими революционерами, по крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело: видно, куда идешь... куда бы пошел. Остальные—пусть называют себя прогрессистами, кадетами, октябристами, мне все равно,—изменяют режиму и лицемерно ведут нас к революции, которая, к тому же, унесет их самих с первого же дня: ибо она пойдет гораздо дальше, чем они думают; ужасом она превзойдет все, что-когда нибудь видели. Социалисты не одни окажутся ее участниками; крестьяне также примутся за это. И когда мужик, тот мужик, у которого такой кроткий вид, спущен с цепи, он становится диким зверем. Снова наступят времена Пугачева. Это будет ужасно. Наша последняя возмож-

ность спасения в реакции... да, в реакции. Без сомнения, я оскорбляю вас, говоря так, и вы из учтивости не отвечаете мне; но предоставьте мне сказать вам все, что я думаю.

— Вы правы, не принимая моего молчания за согласие. Но вы нисколько не шокируете меня, и я слушаю вас с большим интересом. Продолжайте, прошу вас.

— Хорошо! Я продолжаю. На Западе нас не знают. О царизме судят по сочинениям наших революционеров и наших романистов. Там не знают, что царизм есть сама Россия. Россию основали цари. И самые жестокие, самые безжалостные были лучшими. Без Ивана Грозного, без Петра Великого, без Николая I не было бы России... Русский народ самый покорный из всех, когда им сурово повелевают; но он неспособен управлять сам собою. Как только у него ослабляют узду, он впадает в анархию. Вся наша история доказывает это. Он нуждается в повелителе, в неограниченном повелителе: он идет прямо только тогда, когда он чувствует над своей головой железный кулак. Малейшая свобода его опьяняет. Вы не измените его природы: есть люди, которые бывают пьяны после того, как выпили один стакан вина. Может быть, это происходит у нас от долгого татарского владычества. Но это так. Нами никогда не будут управлять по английским методам... Нет, никогда парламентаризм не укоренится у нас.

— Тогда что же... Кнут и Сибирь?

Мгновенно он колеблется; затем с грубым и резким смехом он отвечает:

—Кнут! Мы им обязаны татарам, и это лучшее, что они нам оставили... Что же касается Сибири, поверьте мне: не без причины Господь поместил ее у ворот России.

— Вы напоминаете мне одну аннамитскую пословицу, которую мне сказали когда-то в Сайгоне: Везде, где есть аннамиты, Господь вырастил бамбук. Маленькие желтые кули отлично поняли соответствие конечной причины, которая существует между бамбуковым прутом и их спинами... Чтобы не заканчивать нашего разгоора шуткой, позвольте мне сказать вам, что в глубине души я от всего сердца желаю видеть Россию применяющейся понемногу к условиям представительного образа правления в очень широких пределах, в которых эта форма правления, мне кажется, может примириться с характером русского народа. Но, как посол союзной державы, я не менее искренне желаю, чтобы всякая попытка реформы была отложена до подписания мира; так как я признаю вместе с вами, что царизм, в настоящее время, является самым высоким национальным выражением России и ее самой большой силой.

Воскресенье, 14 ноября 1915 г.

По всем сведениям, доходящим до меня из Москвы и из провинции, разгром Сербии мучительно волнует душу русского народа, всегда столь открытую чувствам сострадания и братства.

По этому поводу Сазонов рассказывает мне, что он вчера беседовал с духовником государя, отцом Александром Васильевым:

—Это святой человек,—сказал он,—золотое сердце, исключительно высокая и чистая душа. Он живет в тени, в уединении, погруженный в молитву. Я знаю его с самого детства... Так вот, вчера я встретил его у часовни Спасителя, и мы несколько шагов прошли вместе. Он долго распрашипал меня о Сербии, выпытывая, не пренебрегли ли мы чем-

нибудь для ее спасения, можно ли еще питать какую-нибудь надежду остановить вторжение, нет ли возможности отправить еще новые войска в Салоники и т. д. И, так как я немного удивился его настойчивости, он сказал мне:

—Я без всякого колебания могу вам сообщить, что бедствия Сербии доставляют жестокую горесть, почти угрызения совести, нашему возлюбленному царю.

Вторник, 16 ноября 1915 г.

Вот уже недели две как русская армия в Курляндии ведет с некоторым успехом довольно настойчивое наступление в районах Шлока, Икскюля и Двинска. Эта операция имеет лишь второстепенное значение; но, тем не менее, она заставляет германский штаб держать в бою, на жестоком холоде, крупные силы.

Г-жа С., приехавшая из Икскюля, где она заведует перевязочным пунктом, рассказывала мне о русских раненых, об их терпении, их кротости, их покорности судьбе.

—Почти всегда,—сказала она мне,—к этому примешивается религиозное чувство, порою облекающееся в странную форму—в форму почти мистическую. Я наблюдала у многих из них, у простых мужиков, мысль о том, что их страдание послано им не только в искупление их собственных грехов, но что оно представляет долю ответственности за грехи всего мира, и что они должны принимать это страдание, как Христос нес свой крест, для искупления всего человечества. Если бы вы немного пожили с нашим крестьянином, вы бы удивились тому, какая у него евангельская душа...

Она прибавляет, смеясь:

— Это не мешает им быть грубыми, ленивыми, лживыми, вороватыми, чувственными, безнравственными—я не знаю, чем еще... Ах, какой сложной должна вам казаться славянская душа.

— Да, как сказал Тургенев: славянская душа—темный лес.

Воскресенье, 21 ноября 1915 г.

Сумрачные, снежные дни, полные печали. По мере того, как зима развертывает над Россией своей гробовой саван, дух понижается, воли ослабевают. Везде я вижу одни мрачные лица, везде слышу только унылые речи; все разговоры о войне сводятся к одной и той же мысли, высказанной или затаенной: „К чему продолжать войну? Разве мы уже не побеждены? Можно ли верить, что мы когда-нибудь подымемся вновь?"

Эта болезнь распространяется не только в гостиных и в интеллигентских кругах, где оборот военных событий может доставить изобильную пищу для духа критики. Многочисленные признаки показывают, что пессимизм развит не меньше среди рабочих и крестьян.

Что касается рабочих, то достаточно революционного яда, чтобы об'яснить их отвращение к войне и атрофию патриотического чувства, доходящую до желания поражения. Но у безграмотных крестьян, у невежественных мужиков, не имеет ли такой упадок духа косвенную и безсознательную, причину чисто-физиологическую—запрещение алкоголя? Нельзя безнаказанно менять, внезапным актом, вековое питание народа. Злоупотребление алкоголем было, конечно, опасно для физического и нравственного здоровья мужиков; тем не менее водка входила важною составной частью в их питание,

средство возбуждающее по преимуществу, средство тем более необходимое, что восстанавливающее значение их остальной пищи почти всегда ниже их потребностей. При таком питании, лишенный своего обычного возбудителя русский народ все более и более восприимчив к подавляющим впечатлениям. Если только война долго продлится, он станет недовольным. Таким образом, великая августовская реформа 1914 года, столь великодушная по своему намерению, столь благотворная по первоначальному своему действию, кажется, обращается теперь во вред России.

Четверг, 25 ноября 1915 г.

Последний акт сербской трагедии близится к концу. Вся территория сербского народа захвачена; нашествие переливается через ее края. Болгары уже у ворот Призрена. Истомленная нечеловеческими усилиями маленькая армия воеводы Путника отступает к Адриатическому морю, через албанские горы, по испорченным дорогам, среди враждебных племен, под ослепляющий снежной высотой; так, меньше, чем в шесть недель, германский генеральный штаб выполнил свой план—открыть прямую дорогу между Германией и Турцией, через Сербию и Болгарию.

Чтобы облегчить свою совесть, император Николай заставляет вести настойчивые аттаки против австрийцев, на Волыни, под Чарторыйском—но без результата.

Вторник 30 ноября 1915 г.

Одна из нравственных черт, какую я повсюду наблюдаю у русских, это быстрая покорность судьбе и готовность склониться перед неудачей. Часто

даже они не ждут, чтобы был произнесен приговор рока: для них достаточно его предвидеть, чтобы тотчас ему повиноваться; они подчиняются и приспособляются к нему, некоторым образом, заранее.

Этой врожденной наклонностью вдохновился писатель Андреев в рассказе, только что прочитанном мною и полном захватывающего реализма; называется он „Губернатор".

Меня уверяют, что этот рассказ—только литературная обработка действительного происшествия. 19 мая 1903 года уфимский губернатор Богданович внезапно столкнулся в пустынной аллее общественного сада с тремя людьми, которые убили его выстрелами в упор. Он приобрел себе, среди своих подчиненных, репутацию человека доброго и справедливого. Но 23-го предшествовавшего марта ему пришлось усмирять волнение среди рабочих, и это усмирение вызвало до сотни жертв.

С этого трагического дня Богданович, преследуемый мрачными предчувствиями, подавленный скорбью, жил только одним покорным ожиданием, что его убьют.

Четверг, 2 декабря 1915 г.

Я беседовал о делах внутренней политики с С., крупным землевладельцем, земским деятелем своей губернии,—человеком широкого и ясного ума, всегда интересовавшимся крестьянским вопросом. Разговор зашел о вопросах религии, и я откровенно выразил ему, какое удивление вызывает во мне наблюдаемое мною на основании стольких признаков полное дискредитирование русского духовенства в народных массах. После минутного раздумья С., мне ответил:

— Это—вина, непростительная вина Петра Великого.

— Каким же образом?

— Вы знаете, что Петр Великий упразднил престол московского патриарха и заменил его побочным учреждением—святейшим синодом; его целью, которой он не скрывал, было—поработить православную церковь. Он успел в этом даже слишком хорошо. При таком деспотическом решении церковь не только потеряла и независимость и влияние; она теперь задыхается в тисках бюрократизма; день ото дня жизнь от нее отлетает. Народ все больше и больше смотрит на священников, как на правительственных чиновников, на полицейских, и с презрением от них отходит. Со своей стороны духовенство становится замкнутой кастой, без чувства чести, без образования; без соприкосновения с великими течениями нашего века. В то же время высшие классы обращаются к религиозному равнодушию, а иные души, охваченные аскетическими или мистическими чувствами, ищут для них удовлетворения в сектантских заблуждениях. Скоро от официальной церкви останется только ее формализм, ее обрядность, ее пышные церемонии, ее несравненные песнопения: она будет телом без души.

— В общем,—сказал я,—Петр Великий понимал назначение своих митрополитов так же, как определял Наполеон I роль своих архиепископов, когда он заявил в тот день заседанию государственного совета: „Архиепископ—это вместе с тем и префект полиции".

— Совершенно верно.

Воскресенье, 5 декабря 1915 г.

Никакое общество не доступно чувству скуки больше, чем общество русское; ни одно общество не платит такой тяжелой дани этому нравственному бичу. Я наблюдаю это изо дня в день.

Леность, вялость, оцепенение, растерянность, утомленные движения, зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, быстрое утомление от всего, неутомимая жажда перемен, непрестанная потребность развлечься и забыться, безумная расточительность, любовь к странностям, к шумному, неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, непрерывный обмен беспричинными визитами и бесчисленными телефонными разговорами, странное излишество в милостыне, пристрастие к болезненным мечтаниям и к мрачным предчувствиям—все эти черты характера и поведения представляют лишь многообразные проявления одного чувства—скуки.

Но, в отличие от того, что происходит в наших заседаниях, обществах, русская скука кажется чаще всего мне иррациональной, сверхсознательной. Те, кто ее испытывают, не анализируют ее, не рассуждают о ней. Они не останавливаются подобно последователям Байрона или Шатобриана, Сенанкура или Амиэля, в размышлении над непостижимым сном жизни и тщетностью человеческих стремлений; из своей меланхолии они не ищут выхода, наслаждаясь гордостью или поэзией. Их болезнь гораздо менее интеллектуальная, чем органическая: это—состояние неопределенного беспокойства, скрытой и беспредметной печали.

Воскресенье, 12 декабря 1915 г.

У княгини Г., за чаем, я встретился с Б., находившимся в припадке пессимистического и саркастического настроения:

—Эта война,—восклицал он,—окончится как „Борис Годунов"... вы знаете оперу Мусоргского?

При имени Бориса Годунова перед моими глазами возникает поразительная фигура Шаляпина; но я тщетно пытаюсь понять намек на теперешнюю войну. Б. продолжает:

— Вы не помните двух последних картин? Борис, измученный угрызениями совести, теряет рассудок, галлюцинирует и об'является своим боярам, что он сейчас умрет. Он велит принести себе монашеское одеяние, чтобы его в нем похоронили, согласно обычаю, существовавшему для умиравших царей. Тогда начинается колокольный звон; зажигают свечи; попы затягивают погребальные песнопения; Борис умирает. Едва он отдал душу, народ восстает. Появляется самозванец, Лже-Дмитрий. Ревущая толпа идет за ним в кремль. На сцене остается только один старик, нищий духом, слабый разумом, юродивый, и поет: „Плачь святая Русь православная, плачь, ибо ты во мрак вступаешь".

— Ваше предсказание очень утешительно!

Он возражает с горькой усмешкой:

— О, мы идем к еще худшим событиям.

— Худшим, чем во времена Бориса Годунова?

— Да, у нас даже не будет самозванца, будет только взбунтовавшийся народ, да юродивый, будет даже много юродивых. Мы не выродились со времени наших предков... по части мистицизма...

XX.

Верность союзу.

Понедельник, 27 декабря 1915 г.

В интимной беседе с Сазоновым я указываю ему на многочисленные признаки утомления, которые я наблюдаю повсюду в выражениях общественного мнения.

— Еще вчера,—сказал я,—и притом в клубе, один из высших сановников двора, один из самых близких к государю людей, открыто заявлял, в двух шагах от меня, что продолжение войны безумие и что нужно спешить с заключением мира.

Сазонов делает слабый жест возмущения, потом говорит, добродушно улыбаясь:

— Я расскажу вам историю, которая заставит вас тотчас забыть вчерашнее дурное впечатление, она вам покажет, что государь так же твердо, как и раньше, настроен против Германии... Вот моя история: уже более тридцати лет наш министр двора старик Фредерикс связан тесною дружбою с графом Эйленбургом, обер-гофмаршалом берлинского двора. Они оба делали одну и ту же карьеру, почти одновременно получали одни и те же должности, одни и те же награды. Сходство их обязанностей сделало их посвященными во все, что происходило самого интимного и секретного между дво-

рами германским и русским. Политические поручения, переписка между государями, брачные переговоры, семейные дела, обмен подарками и орденами, дворцовые скандалы, морганатические союзы,—все это им было известно, во всем они были замешаны... Так вот, три недели назад, Фредерикс получил от Эйленбурга письмо, привезенное из Берлина неизвестным эмиссаром и посланное, как показывает марка на конверте, через одно из почтовых отделений Петрограда.

Содержание сводится к следующему: „Наш долг перед Богом, перед нашими государями, перед нашими отечествами обязывает вас и меня сделать все от нас зависящее, чтобы вызвать между обоими нашими императорами сближение, которое позволило бы их правительствам вслед затем найти основания для почетного мира. Если бы нам удалось восстановить их прежнюю дружбу, то я не сомневаюсь, что мы тотчас бы увидели конец этой ужасной войны", и т. д. Фредерикс немедленно подал письмо его величеству, который меня позвал и спросил моего мнения. Я ответил, что Эйленбург мог бы предпринять такой шаг лишь по особому повелению своего государя; перед нами, поэтому, неопровержимое доказательство того, какую большую важность придает Германия отложению России от союзников. Государь был в этом убежден и сказал: „Эйленбург словно и не подозревает, что он советует мне ни более, ни менее, как нравственное и политическое самоубийство, унижение России и мое собственное бесчестие. Дело, все же, достаточно, интересно, чтобы мы еще о нем подумали. Будьте добры составить проект ответа и привезти мне его завтра"... Прежде чем передать мне письмо, он громко перечитал: „их прежнюю дружбу", и написал на поле: „Эта дружба умерла. Пусть никогда

о ней не говорят". На другой день я представил его величеству проект ответа следующего содержания: „Если вы искренне хотите работать над восстановлением мира, убедите императора Вильгельма обратиться одновременно с одним и тем же предложением к четырем союзникам. Иначе никакие переговоры невозможны". Не взглянувши даже на мой проект, государь сказал мне: „Я передумал со вчерашнего дня. Всякий ответ, как бы он ни был безнадежен, грозит быть истолкован, как согласие войти в переписку. Письмо Эйленбурга останется поэтому без ответа".

Я выразил Сазонову мое горячее удовлетворение:

— Это — единственный род поведения, какого можно было держаться. Я счастлив, что государь по собственному почину его принял: я и не ожидал меньшего от его прямодушной натуры. Отказавшись от всякого ответа, он явился образцовым союзником. Когда вы увидите его, передайте ему, пожалуйста, мои поздравления и мою благодарность.

Вторник, 28 декабря 1915 г.

До моего теперешнего пребывания в России, я не сталкивался с иными русскими, кроме дипломатов и космополитов, т.-е. людей, умы которых более или менее проникнуты западничеством, более или менее воспитаны по западно-европейским методам и логике. Насколько иным является русский дух, когда наблюдаешь его в естественной среде и в собственном климате!

За те почти два года, что я живу в Петрограде, одна черта поражала меня чаще всего при разговорах с политическими деятелями, с военными, со светскими людьми, с должностными лицами, жур

налистами, промышленниками, финансистами, профессорами: это неопределенный, подвижной, бессодержательный характер их воззрений и проектов. В них всегда какой-нибудь недостаток равновесия или цельности; рассчеты приблизительны, построения смутны и неопределенны. Сколько несчастий и ошибочных расчетов в этой войне об'ясняется тем, что русские видят действительность только сквозь дымку мечтательности и не имеют точного представления ни о пространстве, ни о времени. Их воображение в высшей степени рассеяно; ему нравятся лишь представления туманные и текучие, построения колеблющиеся и бестелесные. Вот почему они так восприимчивы к музыке.

Среда, 29 декабря 1915 г.

Продолжая следовать своей мысли о косвенной помощи сербам посредством диверсии в Галиции, царь предпринял наступление на бессарабском фронте и восточнее Стрыя, в львовском направлении. Упорные бои, в которых русские, кажется, вновь нашли всю силу своего порыва, завязались под Черновицами, у Бучача на Стрые и у Трембовли близь Тарнополя.

Одновременно с этими волынская армия атакует австро-германцев на Стыри, южнее Пинских болот, в районе Ровно и Чарторыйска.

Четверг, 30 декабря 1915 г.

Петроградские салоны очень взволнованы. В них говорят, замаскированными фразами, о политическом скандале, в котором, будто бы, замешаны некоторые

члены царской семьи и некая девица Мария Васильчикова; передают о секретной переписке с одним из германских владетельных государей.

Некоторые точные подробности, которые я мог проверить, показали мне, что дело серьезно. Я обратился с вопросом к Сазонову, и он мне ответил следующее.

Девица Мария Александровна Васильчикова, лет пятидесяти от роду, двоюродная сестра князя Сергея Илларионовича Васильчикова, состоящая в родстве с Урусовыми, Волконскими, Орловыми-Давыдовыми, Мещерскими и другими, фрейлина государынь императриц, находилась при об'явлении войны на вилле в окрестностях Вены. Здесь, в Земмеринге, она постоянно жила, поддерживая живые сношения со всей австрийской аристократией. Вилла, где она жила в Земмеринге, принадлежит князю Францу фон Лихтенштейну, бывшему австрийским послом в Петербурге около 1899 года. При открытии военных действий ей было запрещено отлучаться с виллы, где, впрочем, она принимала многочисленное общество.

Несколько недель тому назад, великий герцог Гессенский просил ее приехать в Дармштадт и прислал ей пропуск. Тесно связанная дружбою с великим герцогом Эрнестом Людвигом и его сестрами [1]), страстно любя приэтом посредничество и интриги, она отправилась тотчас же.

В Дармштаде великий герцог просил ее отправиться в Петроград, чтобы посоветовать царю за-

[1]) Его сестры: 1) принцесса Виктория (р. в 1863 г.) замужем за принцем Людвигом Баттенбергским; 2) принцесса Елизавета (р. в 1864 г.), вдова великого князя Сергея Александровича; 3) принцесса Ирена (р. в 1866 г.) замужем за принцем Генрихом Прусским, братом императора Вельгельма; и, наконец, 4) императрица Александра Феодоровна.

ключить мир без промедления. Он утверждал, что император Вильгельм готов пойти на очень выгодные по отношению к России условия; намекал даже, что Англия вступила в сношения с берлинским министерством о заключении сепартного соглашения; в заключение сказал, что восстановление мира между Германией и Россией необходимо для подержания в Европе династического начала. Без сомнения, он не мог найти лучшего посредника, чем М. А. Васильчикова. Воображение ее мгновенно запылало: она уже видела себя воссоздающей священные союзы прошлых времен, спасающей, таким образом, царскую власть и одним ударом возвращающей мир человечеству.

Для большой точности великий герцог продиктовал ей по-английски все, что сказал, и она тут же перевела этот текст на французский язык: документ предназначался для Сазонова. Затем великий герцог передал Васильчиковой два собственноручных письма, адресованных—одно императору, а другое—императрице. Первое из писем только резюмировало, в ласково-настоятельных выражениях, ноту, предназначенную Сазонову.

Второе письмо, написанное в еще более нежном тоне, обращалось к самым глубоко-личным чувствам императрицы, к воспоминаниям семьи и молодости. Последняя его фраза такова: „Я знаю, насколько ты сделалась русской; но, тем не менее, я не хочу верить, чтобы Германия изгладилась из твоего немецкого сердца". Ни то, ни другое письмо не были запечатаны, чтобы Сазонов мог прочесть при передаче, одновременно с нотой.

На другой же день Васильчикова, снабженная немецким паспортом, отправилась в Петроград через Берлин, Копенгаген и Стокгольм.

Приехав, она тотчас явилась к Сазонову; тот, очень удивленный, принял ее немедленно. Взяв в руки ноту и оба письма и ознакомившись с ними, он выразил Васильчиковой свое негодование на то, что она взялась выполнить такое поручение. Пораженная таким приемом, который опрокидывал все ее предположения, разрушая все здание, построенное ее фантазией, она не знала, что ему ответить.

В тот же вечер Сазонов был в Царском Селе, с докладом у государя. С первых же слов его лицо императора исказилось от досады. Взяв оба письма, он, не читая, презрительно бросил их на стол.

Затем сказал раздраженным голосом:

— Покажите мне ноту.

При каждой фразе он гневно восклицал:

— Делать мне такие предложения, не постыдно ли это!... И как же эта интригантка, эта сумасшедшая, посмела мне их передать!... Вся эта бумага соткана только из лжи и вероломства!... Англия собирается изменить России!... Что за нелепость!...

Окончив чтение и излив свой гнев, он спросил:

— Что же нам делать с Васильчиковой? Знаете ли вы, какие у нее намерения?

— Она сказала мне, что думает тотчас же уехать в Земмеринг.

— А, в самом деле, она воображает, что я так и позволю ей вернуться в Австрию... Нет, она уже не выедет из России. Я прикажу водворить ее в ее именьи или в монастыре. Завтра я рассмотрю этот вопрос с министром внутренних дел.

Пятница, 31 декабря 1915 г.

Перед всеми лицами, которые видели его вчера, император высказывался о М. А. Васильчиковой так же гневно и строго:

— Принять подобное поручение от враждебного государя!... Эта женщина—или негодяйка или сумасшедшая!... Как она не поняла, что, принимая эти письма, она могла тяжело скомпрометировать императрицу и меня самого?...

По его приказанию М. А. Васильчикова была сегодня арестована и отправлена в Чернигов для заключения там в монастырь.

КОНЕЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ.

		стр.
Предисловие к русскому изданию		3
Введение		17
Глава I.	Визит президента Республики к императору Николаю	26
„ II.	Накануне войны	47
„ III.	Император в Москве	107
„ IV.	Поход немцев на Париж	116
„ V.	Распутин	132
„ VI.	Великая княгиня Елизавета Федоровна	153
„ VII.	Мечта о Константинополе	162
„ VIII.	Мысли императора о будущем мире	165
„ IX.	Припадок пессимизма: снарядный кризис	177
„ X.	Патриотизм императрицы	190
„ XI.	Самодержавие и православие	193
„ XII.	Забытая телеграмма царя императору Вильгельму	203
„ XIII.	Вторичное открытие Думы	205

		стр.
Глава XIV.	Встреча с Распутиным	214
„ XV.	Восточный вопрос	218
„ XVI.	Сражение на Дунайце. Очищение Польши и Литвы	228
„ XVII.	Национальное пробуждение	244
„ XVIII.	Император принимает верховное командование армией	265
„ XIX.	Измена Болгарии и сербская трагедия	281
„ XX.	Верность союзу	307

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА—ПЕТРОГРАД

ПЕТРОГРАДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ПЕТРОГРАД

ДОМ КНИГИ, Проспект 25 го Октября, 28. Тел. 132-44.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ:

П. КУРЛОВ.

КОНЕЦ РУССКОГО ЦАРИЗМА.

ВОСПОМИНАНИЯ

БЫВШЕГО КОМАНДИРА КОРПУСА ЖАНДАРМОВ.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА—в московских и петроградских книжных магазинах ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА—в Торговом Секторе Государственного Издательства в МОСКВЕ и ПЕТРОГРАДЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА—ПЕТРОГРАД

ПЕТРОГРАДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ПЕТРОГРАД

ДОМ КНИГИ, Проспект 25-го Октября, 28. Тел. 132-44.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

С. Ю. ВИТТЕ.

ВОСПОМИНАНИЯ

т. т. I и II.

ГУСТАВ НОСКЕ.

ЗАПИСКИ О ГЕРМАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(От восстания в Киле до заговора Каппа).

Предисловие **Э. Мейера.**

Перевод с немецкого **Г. Гордона.**

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА—в московских и петроградских книжных магазинах ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА—в Торговом Секторе Государственного Издательства в МОСКВЕ и ПЕТРОГРАДЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ПЕТРОГРАД.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Петроград, ДОМ КНИГИ, Проспект 25 Октября, 28.
Тел. 132-44.

Вышли из печати и поступили в продажу.

Арну, Артур. — Народная история Парижской Коммуны.
Бакс, В. — Великая французская революция.
Блосс, Вильгельм. — Германская революция.
Блосс, В. — История французской революции.
Бризон, Пьер. — История труда и трудящихся.
Готье, Ю. В. — Смутное время. Очерк истории революционного движения начала XVII века.
Жорес, Ж. — История французской революции.
Ключевский, В. О.—Боярская Дума древней Руси.
Его же — История сословий в России.
Его же — Курс русской истории. Ч. I.
Его же — Курс русской истории. Ч. II.
Его же — Курс русской истории. Ч. III.
Его же — Курс русской истории. Ч. IV.
Его же — Курс русской истории. Ч. V.
Его же — Сказания иностранцев о Московском Государстве.
Лавров, П. Л. — Парижская Коммуна.
Олар, Н. — Политическая история французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789—1804 г.).
Петрушевский. — Очерки истории средневекового общества и государства.
Пименова, З. — Очерки великой французской революции.
Сеньобос, Ш. — Политическая история современной Европы. Том I.
Тун, А. — История революционного движения в России.
Тюменев, А. Н. — Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Том I. Революция.
Его же. — Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Том II. Расцвет и кризис демократии.
Его же. — Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Том III. Упадок.
Шиновский. Д. — Люди и нравы французской революции. Перевод с немецкого.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА всех поименованных изданий производится в московских и петроградских книжных магазинах Государственного Издательства.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА в Торговом Секторе Государственного Издательства в Москве и Петрограде.